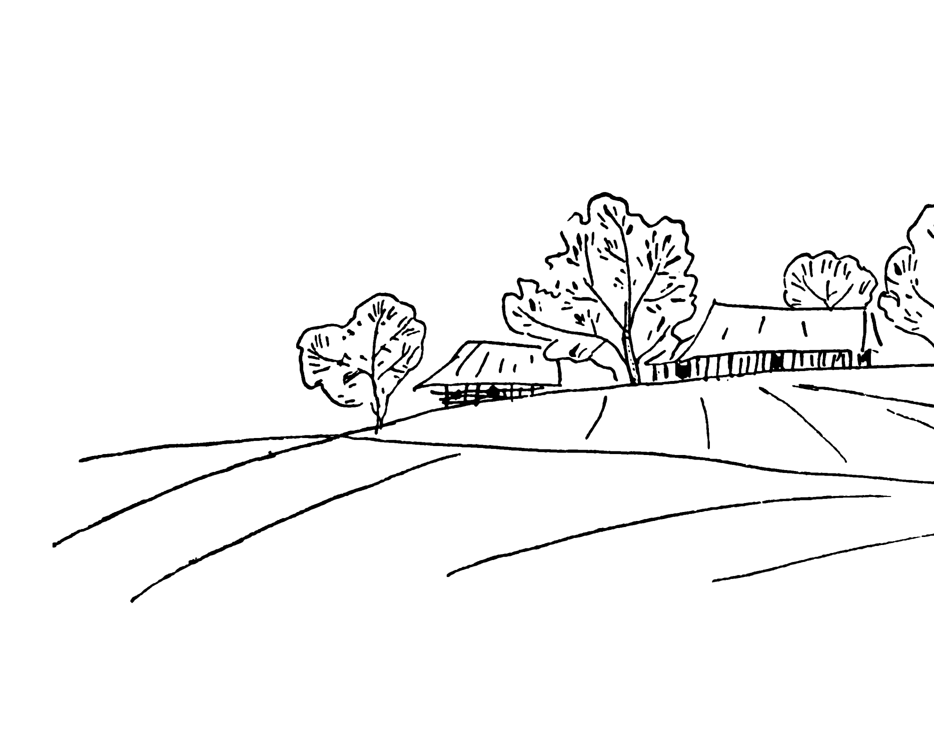
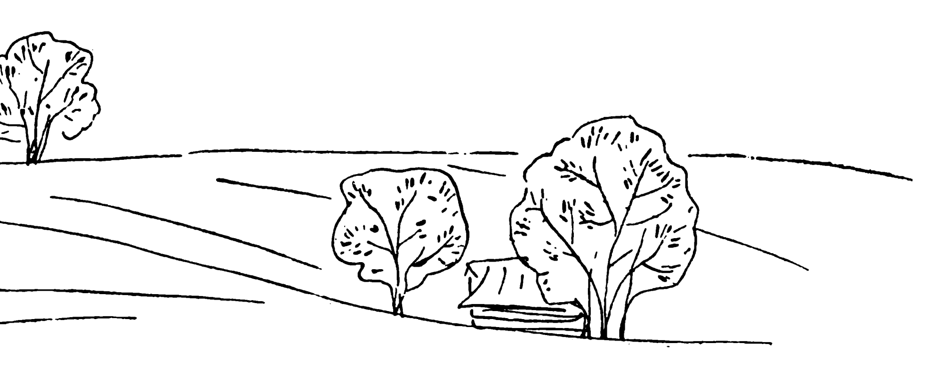
Александра Есенина

РОДНОЕ и БЛИЗКОЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
МОСКВА—1968



Александра Есенина



РОДНОЕ и БЛИЗКОЕ

ВОСПОМИНАНИЯ

8Р2
Е82

Александра Александровна Есенина — младшая сестра Сергея Александровича Есенина, родилась в 1911 году. До тринадцати лет жила в селе Константинове. Ярко запечатлелись в ее памяти картины родной природы, крестьянского быта, те житейские подробности, которые отражены во многих стихах ее брата. Часть ее воспоминаний относится к тому периоду, когда она переехала в Москву.

С большой любовью пишет Александра Александровна о брате, о его нежности, заботливости о близких ему людях, о его трудной и неустроенной жизни.

7—2—2
Письмо — 68

1

Широкой, прямой улицей пролегло наше село Константиново, насчитывающее около 600 дворов, вдоль крутого, холмистого правого берега Оки. Не прерывая этой улицы, подошла вплотную к Константинову деревня Волхона, а дальше — большое село Кузьминское. Проезжему человеку, не жившему в этих местах, не понять, где кончается одно село и где начинается другое. Эта улица тянется на несколько километров.

В Кузьминском один раз в неделю, по вторникам, бывали большие базары. Сюда съезжались крестьяне со всех окрестных деревень. Здесь можно было купить все, начиная от лаптей и глиняных горшков, до коров и лошадей, узнать, где продается дом, кто в соседнем селе умер, кто женился, кто разделился. Вторник — всему миру свидание. На базар ходили и купить, и продать, и просто прогуляться, узнать новости.

В Кузьминском был волостной Совет. После революции в доме помещика открыты амбулатория и больница, ветеринарный пункт. Здесь же находятся почта, аптека, библиотека, магазины, и если у жителей соседних деревень есть дела в этих учреждениях, их переносят все на вторник. В настоящее время в Кузьминском построена ГЭС, дающая электроэнергию многим колхозам, расположенным от Кузьминского на десятки километров. В Кузьминском находится правление укрупненного колхоза имени Ленина и объединенный сельский Совет.

Село очень большое, было здесь два общества и две

церкви, большинство домов хороших, так как почти все кузьминские мужики работали плотниками.

Жители Кузьминского более зажиточны, и народ здесь трудолюбивее нашего, и несмотря на то что эти села слились, жизнь в них протекала по-разному, и сами люди отличались друг от друга, особенно бабы. Кузьминские бабы и косят и пашут, они всегда куда-то торопятся, и походка у них семенящая и качающаяся, они крикливы, и выговор их отличается от нашего, особенно у пожилых, которые дольше наших сохранили и старинные наряды — поневы и на голове повойники, и старинный выговор и выражения, как например «чаго», «каго»; ругая ребятишек, они кричат: «У-у, ранный тя удырь» или «Я те дам, чуртов сын» и т. п.

У нас говорят «чаво», «каво», вместо «чуртов» говорят «чертов», а выражение «ранный тя удырь» вообще не употребляется.

Наши бабы не умеют ни косить, ни пахать, они ходят неторопливой походкой и меньше кричат. На их долю выпало меньше работы, но они не так и ловки, как кузьминские, и наши девки замуж в Кузьминское идут неохотно.

Наше Константиново было тихое, чистое, утопающее в зелени село. Основным украшением являлась церковь, стоящая в центре. Стройные многолетние березы с множеством грачиных гнезд, служили убранством этому красивому и своеобразному памятнику русской архитектуры.

Вдоль церковной ограды росли акация и бузина. За оградой было несколько могил церковнослужителей и константиновского помещика Кулакова. За церковью, на высокой крутой горе,— старое кладбище.

В правом углу кладбища, у самого склона горы, среди могильных камней, покрытых зеленоватым мхом и зарос-

ших крапивой, стояла маленькая каменная часовня, крытая тесом. Рядом с ней лежала плита — старинный памятник. На этой плите любил сидеть Сергей. Отсюда он любовался чудесным видом на наши приокские раздолья.

С церковью, с колокольным звоном была тесно связана жизнь нашего села. Зимой, в сильную метель, когда невозможно было выйти из дома, раздавались редкие и сильные удары большого колокола. Буйные порывы ветра разрывали и разбрасывали мощные звуки. Они тревожно дрожали, и на душе от них становилось тяжело и грустно. Невольно думалось о путниках, застигнутых в поле или в лугах непогодой, сбившихся с дороги. Это им, оказавшимся в беде, посылал свою помощь большой колокол.

Этот же колокол извещал и о другой беде — о пожаре, но не в нашем, а в соседнем селе. Тогда удары его в один край часты и требовательны. Но люди наши, привыкшие к частым пожарам, не особенно страшатся их. Выйдя из дома посмотреть, какое село горит, постоят, поговорят с соседями и, если видно, что пожар несильный, спокойно расходятся по домам. На помощь в соседние села бегут только при сильных пожарах и в том случае, если там живут родственники.

В воскресные и праздничные дни этим колоколом сзывали народ к обедне и всенощной.

О пожаре в нашем селе извещал колокол средний. Звук его какой-то жалобный, беспокойный. Чтобы бить в него, не нужно подниматься на колокольню, к его языку была привязана веревка, спадающая вниз, на землю. В сильные пожары били попеременно то в большой, то в средний колокол, и такие удары создавали большую тревогу.

Этим же колоколом, но редкими ударами, сзывали народ к обедне и вечерне в будние дни. Им же по ночам церковный сторож отбивал часы, но отбивал он их не правильно, а приблизительно и не регулярно, а только когда

проснется, и нередко можно было насчитать вместо двенадцати тринадцать, четырнадцать ударов.

Медленным, грустным перебором всех колоколов провожали человека в последний путь.

Церковь тогда выполняла обязанности загса. Здесь при крещении регистрировался и получал имя каждый новорожденный, при венчании регистрировались браки, при отпевании регистрировали умерших.

Влево от церкви, напротив церковных ворот, в глубине села, стоял один из двух домов нашего священника. Обитый тесом, крытый железом, выкрашенный красной краской, с белыми ставнями, он мало был виден со стороны села, так как был окружен яблонями и высокими вишнями. Зимой в доме никого не было, но летом здесь весело и шумно проводила свой отдых учащаяся молодежь, которую любил и охотно принимал у себя священник Иван Яковлевич Смирнов, или, как его звали все, отец Иван Попов.

Завсегдатаями в доме отца Ивана были две сестры Сардановские, Анна и Серафима, и их брат Николай, родственники отца Ивана, две сестры Северцевы, Тимоша Данилин — сын константиновской вдовы-нищенки, благодаря хлопотам отца Ивана поступивший в рязанскую гимназию и получавший стипендию, Клавдий Воронцов — круглый сирота, племянник отца Ивана, и наш Сергей. Сюда частенько приходила молодежь из соседних сел.

На линии села, посеревший от времени, с тесовой крышей, немного вросший в землю, окруженный палисадником, заросшим большими кустами сирени и жасмина, стоял второй дом отца Ивана. Рядом с ним — дом дьякона, а затем крестьянские дома.

За церковью, внизу у склона горы, на которой расположено старое кладбище, стоял высокий бревенчатый забор, вдоль которого росли ветлы. Этот забор, тянувшийся почти до самой реки, огораживающий чуть ли не одну

треть всего константиновского подгорья, отделял участок, принадлежавший помещице Л. И. Кашиной. Имение ее вплотную подходило к церкви и тянулось по линии села.

Л. И. Кашина была молодая, интересная и образованная женщина, владеющая несколькими иностранными языками. Она явилась прототипом Анны Снегиной, ей же было посвящено Сергеем стихотворение «Зеленая прическа...», а слова в поэме «Анна Снегина»:

Приехали.
Дом с мезонином
Немного присел на фасад.
Волнующе пахнет жасмином
Плетневый его палисад —

относятся к имению Кашиной.

До 1911 года это имение принадлежало отцу Кашиной — И. П. Кулакову. Это его могила находится за церковной оградой. Имение было очень красивое, но небогатое и небольшое, хотя владелец его был очень богатым человеком, имевшим свои ночлежные дома в Москве, на Хитровом рынке и получавший от них огромные доходы. Ночлежные дома Кулакова описывает В. А. Гиляровский в своей книге «Москва и москвичи».

На опушке леса, на крутом песчаном берегу Старицы, отделяющей луга от леса, стоял еще небольшой хутор, также принадлежавший Кулакову. Этот хутор назывался Яр. Он послужил названием повести Сергея.

После смерти Кулакова принадлежавший ему хутор Яр и леса, протянувшиеся на десятки километров в глубь Мещеры, достались в наследство его сыну, а имение на селе и заливные луга дочери — Л. И. Кашиной.

Белый каменный двухэтажный кашинский дом утопал в зелени. На сравнительно маленьком участке разместились липовые аллеи, фруктовые сады, причем один из них, видимо, был опытным, так как посажен он был в искусст-

венной низине, а со стороны села его защищал высокий земляной вал. Сосны, тополя, березы, дубы, клены, ясени — каких только деревьев здесь не было!

Богатый деревьями, кустарниками, густыми травами сад привлекал к себе неисчислимое множество пернатых жителей. Летом целыми днями за забором слышалась неугомонная щебетня и посвисты хлопотливых пичуг, а по ночам на все село раздавались истошные крики сов, дикий хохот филинов и искусные соловьиные трели.

Барская часть подгорья была также очень красива. Все горы были засажены деревьями, и всюду росла буйная трава.

Внизу, между четырьмя горами,— пруд, над которым задумчиво склонились ивы и березы. Вода в нем была родниковая, прозрачная и холодная.

Нам, деревенским ребятам, это имение казалось сказочным. Дух захватывало при виде огромных кустов расцветшей сирени или жасмина, окружающих барский дом, дорожек, посыпанных чистым желтым песком, барыни в красивом длинном платье и ее детей в соломенных шляпах.

Ворота и калитка в барскую усадьбу редко открывались, а бревна высокого забора так плотно прилегали друг к другу, что невозможно было найти щелочку для глаза. Из мальчишек иногда находился смельчак, который залезал на этот забор, но стоило кому-либо крикнуть: «Кулак, Кулак, лови, лови», как храбрец кубарем скатывался вниз. Лишь одно упоминание имени прежнего владельца имения — Кулакова — оказывало магическое действие долгие годы даже после его смерти.

Сергей бывал в барском доме: он дружил с Л. И. Кашиной. Из барского сада он иногда приносил домой букеты жасмина и сирени.

На противоположной стороне села выстроились в ряд ничем не примечательные, обыкновенные крестьянские

избы, за дворами которых тянулись узкие полоски приусадебных огородов или садов. Среди этих домов, против церкви, стоял и наш дом. В этом селе мы родились и жили, здесь прошли молодые годы Сергея.

Жизнь на селе начинается рано. Летом, задолго до восхода солнца, часа в два-три, в тишине слышится позвякивание ведер. Это бабы отправляются доить коров. Коровы у нас, как только схлынет половодье и можно натянуть канат на паром, переводятся за реку на все лето, до самых морозов. Дождь, стужу, жару — все переносят они под открытым небом. Наши бабы по два-три раза в день переезжают Оку, чтобы доить коров.

Только в петровки коров недели на две-три переводят домой и пасут в поле, которое потом запахивают под озимые хлеба. В это время стоит самая сильная жара и нестерпимо жалит овод. Переводят коров по постановлению общего собрания крестьян. Но бывало и так, что собрание еще не собирали, а овод не дает коровам никакого житья. Тогда самая нетерпеливая и смелая корова бросается вплавь через Оку, за ней — другая, третья, и, смотришь, все стадо переплывает широкую реку.

Перевозить переплывших коров снова за реку нет смысла — они завтра же переплывут обратно, и пастухи их не смогут удержать.

За рекой каждый хозяин для своей коровы городит загон (плетневую клетушку без крыши с маленькой дверкой). В эти клетушки и загоняют коров вечером, а утром, подоив, выпускают на луг. В полдень все стадо подгоняют к реке.

Бабы переезжают доить коров на четырехвесельных лодках-плоскодонках, вмещающих человек по тридцать каждая. Переезжать с бабами в лодке интересно. Это устная

газета; здесь сообщаются все новости: кто уехал, кто приехал, кто что привез, что купил, кто кого сосватал, кто с кем подрался. Река широкая, и, пока переедут, о многом успевают посудачить.

Рано утром розоватая вода в реке теплая, как парное молоко. Разговоры баб в эту пору особенно гулко разносятся далеко по воде.

Часа через полтора-два, с восходом солнца, бабы возвращаются домой. Но спать уже некогда. Нужно выгнать в стадо овец, накормить свиней, принести воды, истопить печку. Да мало ли у бабы дел по хозяйству.

Истопив печку, будят всю семью завтракать, а после завтрака все отправляются на работу в поле. Дома остаются только дряхлые старики да малые дети.

Лет с шести-семи девочек приучают к работе — носить воду, нянчить детей, мести полы, а лет с девяти-десяти они ходят полоть и жать вместе со взрослыми, моют полы, копают картошку, привыкают доить коров. Мальчики ездят в ночное или, если лошади в табуне, переезжают за ними вместе с бабами-коровницами за реку. Их дела мужские — на пашне и возле лошади. Дел у них меньше, чем у девочек.

С этих же лет приучали к труду детей и в нашей семье. Как-то легко и незаметно мы привыкали к работе. В одиннадцать-двенадцать лет и сестра Катя и я были уже помощницами матери. Мы умели жать, полоть, доить коров, носили воду, полоскали белье на речке.

Сергей в раннем возрасте ездил с мальчишками поить лошадей на Оку, в ночное. Но его помощь в работе нужна была, пока он жил у дедушки Титова. У нас же не было лошади. Единственно, где он мог помогать,— это в лугах на сенокосе. И эту работу Сергей очень любил. Каждый год, приезжая на лето домой, в сенокосное время он целые дни проводил в лугах, помогая косить сначала деду, а когда

отец стал заниматься сельским хозяйством, то отцу. Иногда он не приходил домой по неделе, живя вместе с мужиками в шалашах.

Изумительно красивы наши заливные луга. На горе как на ладони видны протянувшиеся по одной линии на многие километры села и деревни. Вдали, как в дымке, синеют леса; воздух чист и прозрачен. В траве, в кустарниках, в синем небе на разные голоса поют, заливаются птицы. Вот торопливо пролетела, часто махая крылышками и беспокойно крякая испуганная кем-то стая уток; вот высоко паря в небе, жалобно прокричал разбойник ястреб; вот выпорхнула из-под ног перепелка и, совсем близко спрятавшись в густой траве, уговаривает нас, что нам «спать пора»; вот любопытные чибисы, далеко завидев нас, допытываются: «Чьи вы?» И хоть мы и кричим им, насколько хватает голоса, что мы константиновские, они все равно задают один и тот же вопрос: «Чьи вы?»

С весны до глубокой осени нас, ребят, манят к себе своими богатствами луга. Вошла в берега Ока, сошли вешние воды, чуть зазеленела трава, и уж мы в лугах. Первое, за чем мы туда бегаем,— щавель. Мальчишки лазят по озерам в поисках утиных яиц. Пройдут две-три недели, подрастет трава, появится скорода, за скородой — купыри, за ними — луговая клубника, растущая на наших лугах в изобилии. Целыми ведрами мы набираем эту нежную, ароматную ягоду, но беда в том, что, когда она вызревает, приходится выдерживать целый бой с перевозчиками. Нас не пускают в луга, не дают нам лодки, так как трава большая, а мы, собирая ягоды, безбожно приминаем ее, и после наших набегов косить трудно. Но переехать мы все-таки умудряемся.

И вот настала сенокосная пора. Это самая горячая и самая веселая работа. Первыми на сенокос отправляются мужики, перевозят на пароме лошадей, запряженных

в телеги. На телегах — покосные домики-шалаши, сундуки с одеждой и продуктами, косы, грабли. Шалаши размером почти все одинаковы: должны поместиться на телеге. Но вид их разный. Вот шалаш, плетенный из хвороста и крытый соломой, вот весь тесовый, а вот тесовый, крытый железом. Строят шалаши не на один год, в них приходится ежегодно прожить две-три недели, потому и старается каждый жилье свое сделать лучше.

В течение всего сенокоса мужики и мальчишки живут в лугах в этих шалашах и домой не приезжают. Но бабам приходится ежедневно уходить домой. Нужно приготовить обед на следующий день, подоить коров. Часто печи топят вечером — готовка большая и утром времени не хватит. Ведь в шесть-семь часов нужно снова бежать в луга.

Во время сенокоса питаются хорошо. Хлопот хозяйке много. Нужно напечь блинов, драчон, пирогов, наварить щей. К покосу, как к празднику, запасают яйца, сало, творог, покупают мясо или режут своего барана или теленка. По-праздничному хорошо питаются в сенокос потому, что работа тяжелая, и еще потому, что обедать приходится у всех на виду. Никому не хочется показать, что он беднее другого. Вот и получается: нагрузит баба полную корзинку еды, перевяжет ее за спину, да еще в руках ведро с молоком или кувшин со щами, и тащит километра три-четыре. Измучается, а отдыхать некогда: нужно разжигать костер, кипятить чайник, варить в котелке кашу-разварушку на завтрак. Скоро должны вернуться мужики, которые с рассвета косят.

Позавтракав, мужики ложатся отдыхать, а бабы отправляются шевелить и сгребать сено.

Часов в двенадцать наступает обеденное время. Поднимаются отдохнувшие мужики, возвращаются с работы бабы. Снова загораются костры на стане, расположенном

на берегу одного из многочисленных озер. Каждая семья располагается у своего шалаша обедать.

Но самое веселое — это послеобеденное время. Шутки, смех, песни, пляски, купание молодых. Есть у нас такой обычай — молодоженов, поженившихся в течение года, считая от прошлого сенокоса, купать в озере. С шутками, со смехом подступают к молодой или молодому, хватают их, раскачивают и в чем есть бросают в воду. Барахтанье молодых в илистом, заросшем озере вызывает дружный смех, и, довольные такой шуткой, люди долго не расходятся. Конечно, такое купание неприятно, но обижаться нельзя, таков обычай — купают всех молодоженов, и, предвидя это, они всегда берут с собой запасное платье.

Часа в три-четыре бабы отправляются копнить сено. Приятно посмотреть на баб, рассыпавшихся по лугу в ярких, пестрых нарядах. На сенокос у нас одеваются по-праздничному, особенно молодежь. Раскрасневшиеся, слегка растрепанные, ловко складывают они одну копну за другою. Работая у всех на виду, нужно показать себя ухватистой, особенно девкам на выданье. К ним пристально присматриваются будущие свекор или свекровь.

Ни на какой другой работе не проводится короткий отдых так весело, как на сенокосе, и усталь нигде не проходит так быстро. Вспоминая покосное время, люди забывают, как ломило от тяжелого труда поясницу, как прилипали к спине рубахи, покрывшиеся от пота солью.

И у Сергея, испытавшего этот труд, остаются в памяти картины яркие и дорогие:

Я люблю над покосной стоянкою
Слушать вечером гуд комаров.
А как гаркнут ребята тальянкою,
Выйдут девки плясать у костров.

Загорятся, как черна смородина,
Угли-очи в подковах бровей,

Ой ты, Русь моя, милая родина,
Сладкий отдых в шелку купырей.

Все село наше делилось на выти. В каждую выть входило по 50—60 дворов, и все полевые и луговые земли делились вначале по вытям, а затем уж по душам.

В сенокосное время каждая выть ставила стан на своих участках, причем участки отводились по жребию.

Луга наши делились на несколько частей, и каждая из них имела свое название: Белоборка, Журавка, Долгое, Первая пожень.

Обычно косьба начинается с Первой пожени, расположенной ближе к селу, сразу за косой, которая лежит поперек луга от реки до Старицы и отделяет покосные луга от Заречья, где пасется скот до сенокоса. Окончив уборку здесь, вся выть перебирается на другой, более отдаленный участок. На новом месте устанавливаются шалаши — удлиняется бабья дорога.

Для уборки сена крестьяне объединяются по два-три двора. Лошадные принимают в пай безлошадных, но они должны за лошадь предоставить людскую рабочую силу или доплатить деньгами. Объединение это вызвано тем, что ни у одного хозяина с одного участка не наберется сена столько, чтобы можно было сметать стог, а стога у нас мечут большие. Вся выть мечет стога в одном месте и сообща огораживает их жердями от скота, который после сенокоса будет пастись здесь.

Причудлив вид с горы на покосные луга в сумерки. Разбросанные то тут, то там станы походят на огромный цыганский табор. Мерцают вдали огоньки костров, и в тихую погоду дым от них, расстилаясь по всему лугу, голубой вуалью окутывает копны, которые издали кажутся шапками огромного войска, а стоящий вдали лес, застлан-

ный снизу дымом, как будто плывет по воздушному морю.

Широки и поля наши. Всюду, куда ни глянешь, граничат поля с горизонтом, и кажется, не обойти, не измерить их, не счесть богатств, которые соберутся с них. Но густо заселен наш край. В редкой деревне насчитывается менее сотни дворов, а в больших селах, как Федякино, наше Константиново или Кузьминское, их по шестьсот-семьсот. В каждом таком селе живет около двух тысяч человек. И режутся эти поля на узкие полоски, как в бедной многодетной семье режут праздничный пирог.

Земля на полях не одинакова по своему плодородию, поэтому каждое поле делится на три-четыре части, и в каждой из них семья получает свою долю. Доли эти так малы, что измеряются ступней или лаптем.

Из-за недостатка земли и малоурожайности суглинистой почвы крестьяне наши, чтобы прокормить семью, вынуждены были искать дополнительных заработков. Каждое село в большинстве своем занималось одним ремеслом. Так, в Сельцах портняжничали, и селецкие портные обшивали всю округу; в Шехмине, расположенном в лесу, плели кошели и лапти; старолетовские, живущие около железнодорожной станции, занимались извозом, и не только при своей станции, многие уезжали на заработки в Москву, в Рязань и другие города. Кузьминские мужики работали плотниками; наши, константиновские, шли больше по торговой части в Москве, в Петербурге, устраиваясь чуть не с детских лет в «мальчики» в пекарнях, в магазинах, в трактирах.

Некоторые девушки уезжали в города, поступали в домашние прислуги, другие уходили с весны до поздней осени на торфяные разработки, где зарабатывали себе деньги на приданое, получали малярию и ревматизм.

Крестьяне, не имевшие приработков со стороны, подрабатывали в селе. Мужики обзаводились лошадьми и по-

мимо обработки своей земли нанимались обрабатывать пашни безлошадных, возили и продавали дрова.

Женщины нанимались работать на сенокосе, жать, полоть, доить коров. Чаще на эти работы шли вдовы. Жизнь многодетных вдов и одиноких стариков была очень тяжелой. За обработку земли, покоса заплатить нечем. Приходилось отдавать за это половину земельных и покосных наделов, а собранного хлеба с оставшейся половины надела хватало только до рождества, и многие вынуждены были просить подаяния.

Так обманчивы были приволье и ширь наших полей. Все они измерены русским лаптем, пропитаны соленым крестьянским потом.

Вот здесь, на этих просторах, протекало детство Сергея. На этих лугах, в зарослях озер босоногим мальчиком он вылавливал утиные выводки, здесь «рвал цветы, валялся на траве».

С ранних детских лет мать наша приучала нас к труду, но не заставляла, не неволила и к неумению нашему относилась очень терпеливо.

Помню, как она приучала меня полоть картошку в огороде. Уходя на огород, она не звала меня с собой. Через час-другой я сама прибегала и вертелась около нее. Вот тут-то она и скажет: «А ты рви травку, рви. Видишь, вот это картошка. Ее нужно оставлять, а травку рвать, а то она не дает никакого хода картошке».

И невольно принимаешься за работу: идешь в бой с врагом! За вырванную случайно картофельную плеть мать не ругала, а спокойно говорила: «Ну что ж, бывает».

Если идешь с ней копать картошку, то она копает, а я выбираю. Пока копошусь в земле, отыскивая картофелины, она терпеливо стоит и ждет и укажет, где еще нужно искать.

Помню, как приучала ходить за водой. Из консервных банок она сделала мне ведра, выстругала сама маленькое коромысло. И я была горда и довольна тем, что тоже хожу за водой. Но с непривычки «ведра» качались из стороны в сторону, и вода выплескивалась из них чуть не до половины, а принесешь домой хоть кружку воды, мать и за это похвалит: «Вот умница».

Когда мне было одиннадцать лет, мать научила меня доить коров.

Мне очень нравилось доить коров, ездить с бабами за реку в лодках. Утром и вечером Ока так красива. Податлив характер Оки. Она настолько подчинена окружающему, что даже цвета своего не имеет, а отражает в себе, как в зеркале, все цвета неба.

Хорошо летом часа в два-три выйти на высокий берег ее. Тишина. Лишь слышатся гул комаров, толкущихся над головой, и однообразная трескотня кузнечиков, пристроившихся в зарослях крапивы. Слышен негромкий разговор баб, спускающихся с соседних гор, стук и всплеск весел отплывающей лодки.

Не гаснут летние зори. На далеком горизонте «заря окликает другую». Еще горит вечерняя, продвинувшись на север, а подойдя вплотную к ней, уже загорается утренняя. Темной стальной полосой течет внизу спокойная река. Направо вдали мерцают огоньки Кузьминского шлюза и слышится слабый шум падающей со щитов воды.

Еще темно, не ясны дали, и о приближении утра можно догадаться лишь по соединившимся зорям да по прохладному легкому предутреннему ветерку. Но пройдет часполтора, подоив коров, возвращаешься на это же место и видишь другую картину. На ярко-розовом фоне востока темнеют контуры леса, в сизой дымке луга, заблестели озера. Солнце еще не взошло, но его золотые лучи веером пробились из-за леса. На розоватой речной глади сереб-

рится чуть заметная рябь. Под ногами в траве перламутром играют капельки росы.

С первыми лучами пробуждается природа. В садах, едва проснувшись, на разные голоса запели отдохнувшие за ночь птицы. Нестройным хором закукарекали на селе петухи, поодиночке, галдя, пролетают в луга грачи. Баба, вернувшись от коров, торопится с горы за водой; из-за реки мужики тянут паром с лошадьми. Тихое бодрое утро каждый встречает по-своему.

В такое тихое утро река течет спокойно, неторопливо, и зеркальная поверхность ее играет всеми утренними красками. Но бывает она и другой. В ненастные дни озорной, разгулявшийся ветер шумит по деревьям, качает из стороны в сторону гибкие хворостинки ракиты и лозы в косе, гнет почти до земли луговую траву и с разбойным свистом налетает на реку. Потревоженная, посеревшая от низко нависших туч, она покрывается огромными валами с белыми гребнями. В такую погоду переехать через нее трудно, даже на пароме. Разгневанная, она не раз обрывала толстый пеньковый канат, и если не успевали поймать и удержать один из его оборванных концов, то паром уносило далеко от перевоза и прибить его к берегу удавалось уже в Волхоне или в Кузьминском.

А к зиме, когда уберут щиты Кузьминского шлюза, река становится у́же и мельче, спокойно дает морозу заковать себя толстым синеватым льдом.

По ровному заснеженному льду пройдут первые разведчики — пешеходы, за ними неторопливо проедут первые розвальни, и смотришь, уже проложена прямая как стрела дорога в луга и лес, прорублены конурки, из которых берут воду, и прорубь, где бабы полощут белье. Вдоль дороги, поперек реки и в лугах расставлены соломенные вешки на случай непогоды. Раздольно здесь буйному ветру. Кажется, со всего света он собрал сюда снег и крутит и

вертит его, охапками сбрасывает с высоких крутых гор, сплошной стеной гонит по опустевшим лугам, вдоль реки, заметая проруби, полыньи и дороги.

Заметает пурга
  Белый путь.
Хочет в мягких снегах
  Потонуть.

Ветер резвый уснул
  На пути —
Ни проехать в лесу,
  Ни пройти...

Но пройдут и эти суровые дни. Солнце начнет пригревать все сильней и сильней, побегут к реке «с гор потоки день и ночь», становясь все говорливее и быстрее; взломаются окрайки, вздуется лед на реке, потемнеет и со страшным грохотом расколется на части. Тогда многие идут на высокий берег смотреть, как лед идет.

Необъятно широка Ока во время разлива. Уйдут под воду обрывистые, с тысячами ласточкиных гнезд берега ее, сольются многочисленные озера, разбросанные по лугам, исчезнут крутые речные повороты, и Старица вместе с кустарниками, растущими по берегам ее. Все сольется в одно бескрайнее море. Лишь где-то далеко, за много километров, чернеет лес, вырисовываясь на чистом небосклоне острыми пиками елей.

Шумит река, крутит воронками мутную воду, вертит, как легкие щепки, огромные льдины, сталкивая их друг с другом и с треском кроша одну о другую.

Радуется наш народ большому половодью. Помимо захватывающей красоты, большая вода несет буйный рост луговых трав.

Лед, движущийся вначале сплошным полотном, с каждым днем становится мельче, подвижнее и реже. Через несколько дней вода очистится от него, станет спокойнее и

медленно начнет спадать, как будто нехотя освобождая от своего плена кустарники, возвышенности и до краев заполненные озера.

Скоро вновь здесь зазеленеет обмытая трава, замычат обрадованные простором коровы, зазвенят, как колокольчики, птичьи голоса, и снова с сумками под щавель появится босоногая детвора.

2

Я родилась в 1911 году. Я не помню своих бабушек, из которых одна, по отцу, бабушка Груша, умерла еще до моего рождения, в 1908 году, а вторая, по матери, бабушка Наталья,— когда меня качали в люльке. Дедушка Никита умер рано, когда нашему отцу было двенадцать лет, и о нем мы, дети, знали только по рассказам отца. Дедушка Федор, отец нашей матери, умер в 1927 году, пережив Сергея почти на два года. Об этих семьях я могу рассказать только то, что слышала от старших.

Дедушка наш, Никита Осипович Есенин, был человеком набожным и в молодости готовился уйти в монастырь, за что и получил прозвище «Монах». Это прозвище перешло на все его потомство, да так и осталось за нашей семьей. До самой смерти Сергея нас почти не называли по фамилии, мы все были Монашкины. Да и теперь, когда в нашем селе стало много Есениных, объясняя, из каких мы Есениных, говорят: «Это тетки Тани Монашкиной».

Прожив холостым до двадцати восьми лет и так и не собравшись уйти в монастырь, дедушка женился на шестнадцатилетней девушке.

После женитьбы дедушка отделился от своих родных и в 1871 году купил небольшой приусадебный участок земли без огорода против церкви. Приобрести огород он не

смог до самой своей смерти, и его прикупал уже наш отец. Эта усадьба, расположенная на одном из красивейших мест села, остается нашей и до настоящих дней.

На приобретенном участке дедушка выстроил двухэтажный дом, верх которого был жилым, а низ складским, так как даже амбара дедушке поставить негде было. Этот дом простоял до тысяча девятьсот десятого года. Потом его сломали, выстроили новый. Из нашей семьи в старом доме родились отец, Сергей и моя старшая сестра Катя.

Прожил дедушка Никита недолго, оставив бабушку с кучей маленьких детей, из которых старшей девочке было 14, а нашему отцу 12 лет. И еще двое ребят были моложе нашего отца.

Растить такую ораву ребятишек без мужа бабушке было трудно, поэтому, когда нашему отцу исполнилось тринадцать лет и он окончил трехклассную сельскую школу, бабушка через знакомых определила его «в мальчики» в один из московских магазинов. Затем и его младшего брата Ивана она вынуждена была отправить на заработки.

Но помощи от них бабушка не получала, так как «мальчикам» жалования не платили и работали они только за хлеб и одежду. Чтобы прокормиться с остальными детьми, бабушке пришлось пускать к себе на квартиру живописцев, каменщиков, маляров, которые работали в это время в церкви и часовне.

Через три-четыре года бабушке было уже легче. Подросшие сыновья стали высылать ей свое небольшое жалованье, а те, что остались дома, помогали ей в работе.

Наши родители поженились очень рано: отцу было тогда восемнадцать, а матери шестнадцать с половиной лет.

Сыграв свадьбу, отец вернулся в Москву. С первых же дней мать и свекровь невзлюбили друг друга и сразу же начались неприятности. Полной хозяйкой была бабушка. В доме ее по-прежнему обитали постояльцы, их было много,

и для них нужно было готовить, стирать, носить воду, за всеми убирать. Много работы легло на плечи матери, а в награду она получала ворчание и косые взгляды свекрови. По-прежнему наш отец высылал свое жалованье бабушке.

Так продолжалось около восьми лет. За это время у нашей матери родилось двое детей. Первый ребенок прожил недолго. Вторым был Сергей. Когда ему исполнилось четыре года, мать вернулась в родительский дом.

На другом конце села, носящего название Матово, жил наш дедушка по матери, Федор Андреевич Титов. Он был умный, общительный и довольно зажиточный человек. В молодости он каждое лето уезжал на заработки в Питер, где нанимался на баржи возить дрова. Поработав несколько лет на чужих баржах, он приобрел свои.

Семья у дедушки была большая: жена — наша бабушка Наталья, дочь Татьяна — наша мать, и три сына — наши дяди: дядя Ваня, дядя Саша и дядя Петр.

Дедушка наш был человеком с большим размахом, любил повеселиться и погулять. Возвратившись из Питера, он устраивал гулянья. Ведрами выставлялось вино — пей кто хочет и сколько хочет. Гуляет чуть не все село. Игра на гармонях, песни, пляски, смех не смолкали иной раз по неделе. Потом дедушка начинал подсчитывать каждую копейку и, по словам нашей матери, ворчать, что «много соли съели, много спичек сожгли».

Наша мать была единственной девочкой в доме Титовых и поэтому была любимицей. Стройная, красивая, она считалась лучшей песенницей на селе. Вообще в доме Титовых молодежь жила весело, и сам дедушка поощрял это веселье. Мать рассказывала, что одних гармоний у них стояло несколько корзин (гармони тогда были маленькие — «черепашки»).

Иной жизнью в семье жила бабушка Наталья. Она

была доброй и ласковой. Любила ходить по церквам и монастырям. Часто брала с собой Сергея.

К тому времени, когда в эту семью вернулась наша мать, женились дядя Ваня и дядя Саша. У дяди Саши уже были дети. Чтобы не быть обузой, мать оставила Сергея дедушке, а сама ушла на заработки. В это время дедушка наш был уже разорен. Две его баржи сгорели, а другие затонули, и все они не были застрахованными. Теперь дедушка занимался только сельским хозяйством.

Неграмотная, беспаспортная, не имея специальности, мать устраивалась то прислугой в Рязани, то работницей на кондитерской фабрике в Москве. Но, несмотря на трудную жизнь, на маленький заработок, из которого она выплачивала по три рубля в месяц дедушке за Сергея, она все время просила у нашего отца развод. Любя нашу мать и считая развод позором, отец развода ей не дал. Промучившись пять лет, мать вынуждена была вернуться к нему. Через год у матери народилась моя сестра Катя.

Когда вернулась наша мать в дом Есениных, семья разделилась. Бабушка Груша осталась с нашим отцом, и дом достался им, а дядя Ваня со своей семьей выстроил себе новый дом на другой усадьбе.

Мое появление на свет было не особенно обременительным, так как из всех моих старших братьев и сестер осталось в живых только двое — старший, пятнадцатилетний Сергей и пятилетняя Катя.

Матери, когда я родилась, было тридцать шесть лет. Жила она дома только с Катей, отец работал мясником в Москве, а Сергей учился в Спас-Клепиковской школе.

Из своего детства я помню лишь отдельные эпизоды, примерно лет с четырех. В эти годы меня прозвали «купчихой». Прозвище это я получила из-за пальто. Мать наша,

приезжая к отцу в гости, часто стирала белье, мыла полы, прибирала в доме у его хозяйки. В уплату за труды ей часто давали всякие детские обноски, и так как купеческие дети были старше меня, то обноски шли мне. Я до сих пор хорошо помню зимнее пальтишко: синее, расклешенное, на шерстяной вате и на чудесной шерстяной подкладке в клетку. В этом пальто я ходила за французскими булками, которые выпекал наш односельчанин дядя Илья. В этом пальто, в новых валеночках, с румяными булками в руках я действительно походила на купчиху.

Я рано научилась петь. Я пела все, что пела наша мать, а пела она во время любой работы. Это были и русские народные песни, и романсы, а в предпраздничные вечера и праздничным утром молитвы из церковной службы. Она, как и бабушка, много ходила по церквам и монастырям и все службы знала наизусть.

Может быть, я не запомнила бы, что я рано научилась петь, но в моей памяти сохранился отцовский смех, когда однажды, приехав домой в отпуск, он услышал, как я, играя на печке в куклы, распевала совершенно правильно: «Бродяга, судьбу проклиная, тащится с сумой на плечах». А мне в это время было пять лет.

Запомнился мне приезд Сергея в 1915 году. Он приехал с одним из своих товарищей, имя которого показалось мне необыкновенным — Леонид. Я никак не могла решиться выговорить это имя и называла его «Эй, ты». Мать делала мне замечания, смеялся Сергей, улыбался Леонид, а я старалась не обращаться к нему, а когда мама посылала меня позвать его к обеду или еще зачем, я снова называла его «Эй, ты» и старалась убежать и спрятаться.

В этот свой приезд Сергей привез мне огромный разноцветный мяч в сетке, а Кате — много ярких разноцветных шелковых лент и бусы. Я была обрадована этими подарками. Я видела шелковые ленты и раньше, но в основном

красные, да по одной штуке, а тут их было не меньше десятка, и все разных цветов. Видела я кое у кого из ребят и мячи, но то были черные, «араповые», маленькие, а вот такого большого, красивого, покрытого лаком не было ни у кого. И когда я появилась с ним на улице, детвора окружила меня и кто-то попросил поиграть. Но где там поиграть! Я сама-то не решалась вынуть его из сетки.

Вышли из дому Сергей и Леонид. Сергей, улыбаясь, предлагает: «Давай поиграем». Я отдаю ему мяч и с ужасом смотрю, как он бросает его высоко-высоко. Мяч становится маленьким и каким-то темным, летит все выше и выше, и я боюсь, что он не вернется. Потом на какое-то мгновение мяч как будто повисает в вышине, затем начинает опускаться. С замиранием сердца я жду его возвращения. Вот мяч совсем уже близко, но, ударившись со звоном о землю, он снова подпрыгивает. И с каждым разом делая прыжки все ниже и ниже. Наконец он покатился по земле, я с радостью хватаю его и проверяю: не разбился ли. Убедившись, что мяч цел, я потихоньку, осторожно начинаю играть.

Целыми днями я не расставалась с мячом, однако счастье мое продолжалось недолго. Дня через три я играла в мяч около крыльца. Выскользнув из моих рук, мяч закатился под крыльцо. Я полезла за ним и, уже вылезая обратно, проткнула его торчащим из доски гвоздем. Мяч сильно зашипел, и вместо него в руках у меня осталась какая-то круглая чаша.

В это время Сергей возвращался от Поповых и, увидев меня, удивленную и растерявшуюся, громко расхохотался. А потом, когда я расплакалась от горя, Сергей стал уговаривать меня, что поедет в Москву и пришлет мне такой же мяч. Но второго мяча я так и не получила. Скоро я успокоилась и забыла о нем, и Сергей, вероятно, тоже забыл о своем обещании.

Я помню, как-то он привез нам с Катей по платью: Кате — розовое из крепа с затейливой каймой, а мне — из белого зефира с кружевной кокеткой и с большим голубым шелковым поясом, который завязывался бантом. Привозил он нам сандалии, чулки в резиночку, которых тогда в деревне не было: все носили тряпичные тапочки кустарной работы и чулки своей вязки.

Помню приезд Сергея в мае — июне 1917 года. Была тихая, теплая лунная ночь. Дома, освещенные полной луной, казались какими-то обновленными, а на белой церковной колокольне четко отпечатались густые узорные тени от ветвей берез. Все спали. Не было видно ни одного освещенного окна, а мы еще сидели за самоваром. Напившись чаю, Сергей вышел погулять и остановился у раскрытого окна. Он был в белой рубашке и серых брюках. С одной стороны его освещала керосиновая лампа, стоявшая на подоконнике, а с другой — луна. В барском саду пел соловей. В ночной тишине казалось, он совсем рядом. Захваченный чудесной песней, Сергей стал ему подсвистывать. Эта картина мне хорошо запомнилась.

Я росла тихим и бесхитростным ребенком. Сверстницы мои часто меня обманывали, выманивая игрушки, сладости, и часто били: я не умела защищаться. После очередной взбучки я с ревом бежала домой, а мать отправлялась ругать обидчицу. За это мне попадало еще больше. В том, что я не могла постоять за себя, была доля вины матери. С ранних лет она твердила мне, что драться нельзя, что я должна быть послушной, вежливой, а я с моим податливым характером боялась ослушаться ее.

Очень любила я играть в куклы. Мы делали их сами.

Были они у нас без рук, без ног, вместо лица просто белая тряпица, а мужчины от женщин отличались лишь цветом одежды да тем, что голову женщин покрывали платком и сзади на голове делали прическу — «пук».

Чаще в куклы играли зимой и осенью. Летом нас занимали другие игры на улице, где действующими лицами были мы сами. Из палочек, вбитых в землю, мы городили себе по нескольку комнат с коридорами, с дверями и окнами. Были у нас коровы — кирпичи, и мы их доили: терли один кирпич о другой, и кирпичный порошок был у нас молоком. Покупали селедки — листья от ветел, из глины пекли пирожки.

Летом же играли в лапту, в «кулички» (прятки), в «чикалки» (классики), качались на релях (качелях). После дождей с удовольствием бегали вдоль села по лужам, изображая пароходы.

Но играла я недолго. В 1918 году, когда мне исполнилось семь лет, меня отдали в школу. Я полюбила книги, и уже не хватало времени на игру. Спать зимой мы ложились часов в семь-восемь, керосина не было, по вечерам горели коптилки, а с коптилкой долго не просидишь.

Небольшая деревянная школа стояла среди села недалеко от нашего дома. Она была разделена на две половины: одну половину занимали учителя — Иван Матвеевич и Лидия Ивановна Власовы, муж и жена, во второй половине размещались друг против друга два класса — маленький и большой. В большом обычно занимались первый и третий классы вместе, в маленьком занимались второй и четвертый. После революции учились в две смены. Переоборудовали под класс помещение, которое раньше было учительской кухней.

В 1904 году, когда Сергею исполнилось 9 лет, он начал учиться в этой школе. Учился хорошо. Окончил школу в 1909 году и за отличную успеваемость был награжден похвальным листом. Этот похвальный лист много лет висел у нас на стене в застекленной раме.

Первый год я училась у тех же учителей, которые учили Сергея и Катю: у Ивана Матвеевича и Лидии

Ивановны. Иван Матвеевич был очень строгим учителем и суровым человеком. В классе у него была тишина, и за малейшую провинность он драл учеников за уши, ставил в угол на колени. Ученики его боялись, но любили. У него не было дружбы с ними, и смотрел он на всех свысока. Вообще от людей он держался в стороне. Среднего роста, брюнет, с небольшими усами и клинышком бородкой. Он всегда был опрятно одет — черный костюм и сорочка с галстуком. Со всеми держался надменно, и я не помню, чтобы он когда-нибудь улыбался. Здоровался еле заметным кивком головы с недовольным видом, при ходьбе держался прямо, «как аршин проглотил».

Лидия Ивановна была тоже строга. Тоже наказывала больно. Отдерет, бывало, за ухо или ударит линейкой по затылку. Она была вспыльчива, но отходчива. Держалась с важностью, но все-таки с учениками была значительно проще, чем Иван Матвеевич.

В годы гражданской войны к нам в село привезли детей-сирот, и в барском доме открыли детский дом. Ивана Матвеевича и Лидию Ивановну направили работать в детдом, а к нам прислали других учителей.

Детский дом просуществовал недолго, его закрыли, а Иван Матвеевич и Лидия Ивановна куда-то уехали.

Мне и моим сверстникам довелось учиться в самые тяжелые для нашей страны годы, когда разрушалось старое и еще не было опыта и возможностей наладить новое.

Современным школьникам трудно представить себе, как можно учиться без книги или тетради. Мы писали на бумаге, кто какую сумеет достать, вплоть до газеты. Вместо чернил был свекольный сок, а промокашкой нам служил чистый песок с Оки.

Революционных событий в деревне я не помню, так как Советская власть пришла к нам без боев и выстрелов. Помню только, как разгородили барское подгорье и все,

кто ходил на перевоз по нашей горе, стали ходить теперь через него. И за водой теперь стали ходить на перевоз по новой дороге. Она привлекала людей тем, что была более красивой, и после векового запрета теперь была открыта для всех.

Помню наступивший голод. Страшное время. Хлеб пекли с мякиной, с лузгой, со щавелем, с крапивой, с лебедой. Не было соли, спичек, а об остальном уж и думать не приходилось.

К довершению бед зимой вспыхнула эпидемия сыпного тифа, пробравшегося почти в каждый дом. Скот болел сибирской язвой.

В это тяжелое время еще не был налажен порядок в селе. Неустойчиво было административное управление. То нас приписывали к Кузьминской волости, то организовывалась новая — Федякинская.

К власти наряду с честными людьми пролезли «лабути», имеющие длинные руки. Жилось этим людям совсем не плохо.

Одного из таких «работников» судили всей волостью самосудом и приговорили к замурованию в каменный столб. Гневен русский народ, но и отходчив. Услышав крики жены и дочери осужденного, его помиловали.

Сельская революционно настроенная молодежь широко развернула художественную самодеятельность. Главными организаторами ее были Клавдий Воронцов, С. Н. Соколов и наш односельчанин Ф. А. Райский (Гришин), который был сверстником Сергея, вместе с ним окончил сельскую школу, а затем вплоть до революции колесил где-то по России, играя второстепенные роли в бродячих провинциальных театрах.

Райский привез жену, начинающую актрису, хрупкую, похожую на птичку. Рядом с ним, ранс облысевшим, не-

красивым, она выглядела ребенком. Оба не приспособленные к крестьянской работе, не привыкшие к тихой однообразной жизни, они с радостью принялись за организацию самодеятельности. И сельская молодежь горячо участвовала в этом новом деле.

Сначала спектакли ставили в барской конюшне, затем в школе, а потом в барском доме. Я не помню всех постановок труппы, но помню, что ставился «Лес» Островского, где Аркашку играл Райский, и эта роль ему очень подходила, «Мертвые души» Гоголя, было инсценировано стихотворение Некрасова «В деревне».

Активное участие в постановке спектаклей принимала моя сестра Катя. В «Мертвых душах» она играла Коробочку, в стихотворении «В деревне» — мать погибшего охотника. В это время Катя училась в Кузьминском.

Я хорошо помню, как тринадцатилетняя «мамаша», сидя у топившейся лежанки с книгой в руках, разучивала роль и плачущим голосом произносила:

Умер, Касьяновна, умер, болезная,
Умер и в землю зарыт...

Были организованы кружки: художественного чтения, струнный, хоровой. Иногда устраивались самодеятельные концерты. В 1922—1923 годах в кружке художественного чтения участвовала и я. На одном из концертов я читала стихи Сергея «Поет зима, аукает» и «Товарищ».

На спектакли, концерты потянулись жители села. В переполненном зале, в духоте, мокрые от пота, так как раздеться негде было и сидели все в шубах (представления давались в основном зимой), люди жадно следили за действием и не расходились до окончания спектакля.

В школе у нас впервые за время ее существования в 1919 году была организована для учащихся елка.

Высокая, почти до потолка, украшенная множеством блестящих стеклянных и цветных картонных игрушек,



Основным украшением села являлась церковь, выстроенная в XVIII веке; с церковью, с колокольным звоном тесно была связана вся жизнь села.



Т. Ф. Есенина с дочкой Шурой. 1911 г.



С. А. Есенин с сестрами Катей и Шурой. 1912 г.

У этой часовни любил сидеть С. Есенин.

Изба родителей Есенина, выстроенная после пожара в 1922 г



Л. И. Кашина



С. А. Есенин. 1914—1915 гг.



Небольшая деревенская школа стояла среди села.

Маленький класс Константиновской школы.

Похвальный Листъ



Амбар на усадьбе Есениных, в котором Есениным были написаны многие стихи.

С. А. Есенин окончил сельскую школу в 1909 г. и был награжден похвальным листом.



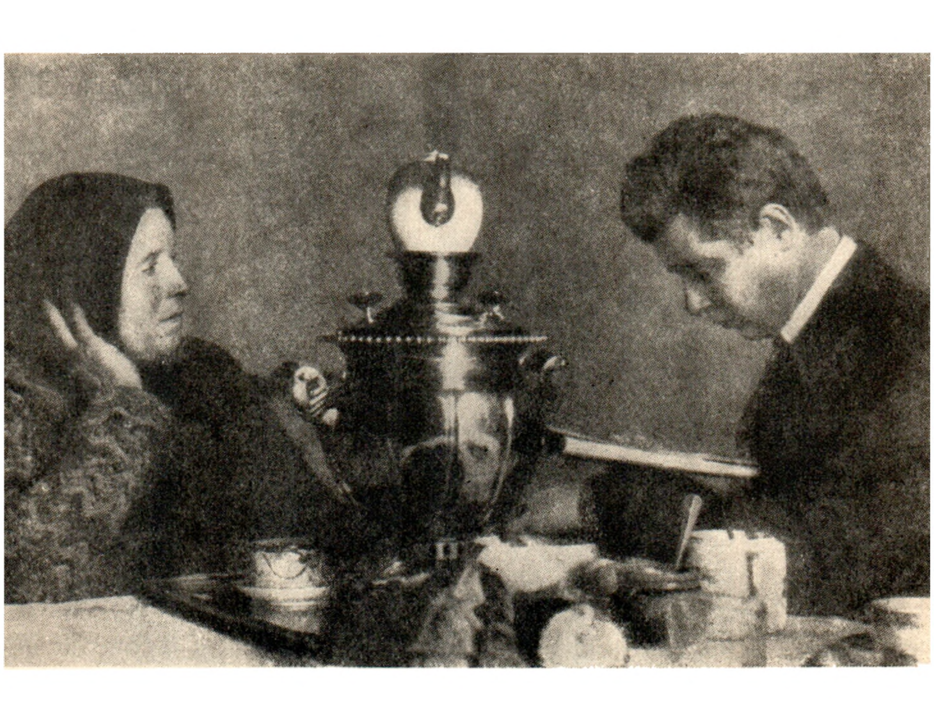
С. А. Есенин.
1922 г.

С. А. Есенин.
1923 г. Москва.





С. А. Есенин. 1924 г. Баку.



С. А. Есенин с матерью. 1925 г. Москва.



Сестры С. А. Есенина Катя и Шура. 1925 г.



С. А. Есенин. 1925 г. Москва.



Первый ряд (слева направо): Е. Есенина и С. Толстая-Есенина, второй ряд: В. Наседкин, А. Сахаров, А. Есенина, С. А. Есенин. Москва. 1925 г.

опутанная серебряной мишурой, освещенная разноцветными свечами, она казалась нам сказочной.

На елке нам впервые показали и туманные картины. Правда, теперь без смеха нельзя вспомнить, что нам показали цветные портреты царской семьи. На голубом, какомто светящемся фоне стояли царь, царица, царский сын и дочери. И все это было в 1919 году! Рядом с новой жизнью еще уживалась и другая, старая.

В вечернем сумраке раздается первый неторопливый удар колокола. Ровно, торжественно уходит звук его все дальше и дальше. С шумом и криком поднимаются в воздух сотни напуганных грачей и галок, гнездящихся под церковной крышей, в дуплах лип аллеи бывшего барского сада, на деревьях, стоящих вблизи от церкви. Когда потонул вдали звук первого удара, тогда раздается второй, за ним, с таким же интервалом, третий и затем уже звучат более частые удары. Колокол сзывает народ ко всенощной. К этому времени все стараются закончить свои работы. Уставшие за неделю люди рады тому, что работать «грех». У всенощной в простую субботу народу не много — старики, которые идут по привычке и на всякий случай, девчата, которым в субботний вечер делать нечего, и детвора, которую выпроваживают из дому родители.

В церкви нашей две половины, соединяющиеся большой, высокой аркой. В каждой половине по алтарю, так как у нас два престола — основной Казанской божьей матери, в честь которой в 18 веке была построена церковь, и второй — великомученицы Софии, выстроенный позже. В праздники служба происходит в алтаре Казанской, в будние дни — в алтаре Софии-мученицы.

Очень удачна архитектура нашей церкви, в ней много света и она очень уютна. На стенах изображения святых нарисованы светлыми, яркими красками. На потолках первого и второго отделения изображено звездное небо.

Висят огромные позолоченные паникадила с лампадами, ярко освещавшими церковь во время всенощных. Лица святых на иконах были изображены добрыми, приветливыми, а лепные позолоченные украшения стен алтарей делали их похожими на сказочные дворцы. В первой половине молились обычно почтенные мужики, во второй — все прочие. Направо у входа — церковный ящик-бюро, где староста продает свечи, налево — в самом темном углу — места девок. Нет, не молиться сюда они приходили, и не для этого угла происходила церковная служба. Сначала, когда девок немного, слышится осторожный шепот, а к середине службы уже стоит гул, как в пчельнике. Частенько церковный сторож становится позади девичьих рядов, подкарауливая неосторожных шептуний, и, выследив, награждает громким подзатыльником. Был у него и другой метод угомонить разболтавшихся девок. Подойдя к их рядам, он начинал стыдить их:

— Эх вы, бессовестные тараторки. Вы зачем сюда пришли? Как вам не стыдно, ведь вы не на базаре.

Голос его гораздо громче батюшкиного, гулко разносится по всей церкви. Девки смолкают, но через несколько минут шепот снова нарастает.

Еще более вольно вели себя мальчики в церкви. А летом во время обедни за церковью на кладбище они играли в бабки. Так же «молился» и Сергей.

3

Сергей приезжал домой почти каждое лето, но воспоминания о нем у меня слились воедино.

Помню, как к его приезду (если он предупреждал) в доме у нас все чистилось и мылось, всюду наводился порядок. Он был у нас дорогим гостем. В нашей тихой, однообразной жизни с его приездом сразу все менялось.

Даже сам приезд его был необычным, и не только для нас, а для всех односельчан. Сергей любил подъехать к дому на лихом извозчике, которые так и назывались «лихачи», а то и на паре, которая мчится, как вихрь, колеса брички едва касаются земли и оставляют позади себя тучу дорожной пыли. С его приездом в доме сразу нарушался обычный порядок: на полу — раскрытые чемоданы, на окнах появлялись книги, со стола долго не убирался самовар. Даже воздух в избе становился другим — насыщенным папиросным дымом, смешанным с одеколоном.

На следующий день происходило переселение. «Зал» (большая передняя комната) отводилась Сергею для работы, а в амбаре он спал. В комнате матери, из которой выносили кровать, или в прихожей устраивали столовую. В зале Сергей переставлял все по-своему, и, хотя особенно переставлять было нечего, комната все же как-то сразу преображалась. Снимали и выносили стеклянный верх посудного шкафа. Накрыв нижнюю часть шкафа пестрым шелковым покрывалом, Сергей устраивал что-то вроде комода. По-своему переставлял стол. На его столе, за которым он работал, лежали книги, бумага, карандаши (Сергей редко писал чернилами), стояла настольная лампа с зеленым абажуром, пепельница, появлялись букеты цветов. В его комнате всегда был идеальный порядок.

Остались в моей памяти некоторые песенки, которые он напевал, расхаживая по комнате, заложив руки в карманы брюк или скрестив их на груди. Он пел «Дремлют плакучие ивы», «Выхожу один я на дорогу», «Горные вершины», «Вечерний звон».

Помню, как Сергей ходил легкой, слегка покачивающейся походкой, немного наклонив свою кудрявую голову. Красивый, скромный, тихий, но вместе с тем очень жизнерадостный человек, он одним своим присутствием вносил в дом праздничное настроение.

К отцу и матери он относился всегда с большим уважением. Мать он называл коротко — ма, отца же называл папашей. И мне было как-то странно слышать от Сергея это «папаша». Обычно так называли отцов деревенские жители, и даже мы с Катей звали отца папой.

Я не могу сказать, что Сергей уделял в эти приезды много времени нам, домашним, он всегда был занят работой или уходил в луга, к Поповым, но одно сознание, что он дома, доставляло нам удовольствие.

10 мая 1922 года Сергей уехал за границу, а в августе этого же года сгорел наш дом.

Часты и страшны были пожары в наших местах. Приусадебные участки у нас очень малы, дома тесно прижались друг к другу. Крыши домов большей частью соломенные, поэтому каждый пожар уничтожал иногда по нескольку десятков домов. Причины пожаров были разные. То хозяйка не обмела вовремя трубу, и загоревшаяся сажа огненной галкой села на соломенную крышу, то поссорившиеся мужики подпустят один другому «красного петуха», то оставшиеся без присмотра дети разложат во дворе или в сенях костер.

С пожаром бороться было трудно: не хватало воды. Прудов мало, а для того чтобы привезти воду из реки, нужно минут 30, а привезут — бочку в 20 ведер. Поэтому главная сила — люди. На каждом доме висели знаки: у кого топор, у кого багор, у кого лестница или ведро. Это указывало, с чем хозяин должен бежать на пожар.

Особенно страшны пожары были летом, когда сухие соломенные крыши воспламеняются как порох, или ночью, когда перепуганные огнем люди теряются и не знают, что им делать. Схватит баба соломенный матрац, на котором спала, выскочит из горящего дома и с криком бежит, раз-

детая, вдоль села. Люди забывают о необходимости спасать имущество, а иногда не успевают даже сообразить хотя бы выгнать со двора скот.

Заслышав ночью частые удары среднего колокола, люди выскакивают из дома в чем попало на улицу и, увидев, где пожар, возвращаются в дом, чтобы одеться.

Пламя от огня ночью кажется ближе, чем оно находится на самом деле, ярче и поэтому вносит большую тревогу. Выгнанный, напуганный скот, куры, вылетающие из горящих дворов, усиливают эту тревогу.

Но вот побежден, погашен огонь. Лишь изредка пробегают огненные зайчики по разваленным бревнам. Постепенно расходятся люди. Замолкает гомон, и на пожарище остаются лишь измученные, перепуганные хозяева.

Пожар, происшедший 3 августа 1922 года, был одним из самых больших и страшных пожаров, которые мне приходилось видеть. Стояла жаркая погода. Знойный ветер не приносил прохлады, а лишь поднимал волны сухого, горячего воздуха, выдувал остатки влаги из земли, палил растения, высушивал ручьи и пруды.

Пользуясь сухой погодой, крестьяне торопились с уборкой, и все трудоспособное население было в поле. В такие дни к полудню на селе становится тихо, безлюдно.

Тишину нарушает лишь поскрипывание колес и фырканье лошадей, медленно везущих телеги, нагруженные ржаными снопами. Все живое прячется от нестерпимо палящих лучей во дворы, в дома. Лишь куры с открытыми клювами зарываются в раскаленную мягкую дорожную пыль или, разбросав крылья, лежат на солнцепеке около двора.

Ребятишки толпами отправляются на речку купаться и барахтаются в воде до тех пор, пока не посинеют. В такие горячие дни на реке часто тонут.

У реки в эти часы спасается от жары и скот. Коровы,

1/2 3 Заказ 376

стоя по брюхо в воде, лениво жуют свою жвачку, спугивая хвостом назойливых мух и оводов. Овцы собираются в кружок и прячут свои головы друг под друга. Свиньи, вырыв яму поближе к воде, принимают грязевую ванну.

Вот в такой знойный день 3 августа нерадивый хозяин, сгружая в ригу снопы, обронил искру от самосада.

В течение нескольких минут его рига превратилась в гигантский костер. Огненные языки, колеблемые ветром, метались из стороны в сторону, злобно набрасываясь на все окружающее. Густой черный дым со снопами искр и пуками горящей соломы высоко поднимались к небу и, подхваченные порывом ветра, далеко разносились вдоль села. Подгоняемые ветром пуки соломы рассыпались, падали на крыши, попадающиеся им на пути, и с шипением и свистом возникал новый очаг пожара.

Даже в тихую погоду во время пожара поднимается ветер, а в ветреную — буря, разбрасывающая огонь во все стороны. Такая буря поднялась и 3 августа.

Погасить огонь люди были не в силах, и за два-три часа, шагая в шесть рядов, он уничтожил около 200 построек. Горели дома, амбары, наполненные хлебом риги.

Непрерывные удары колоколов, вопли баб, крики детей, треск и грохот разваливающихся стен и крыш, беготня людей, тучи дыма, выедающего глаза и застилающего солнце, нестерпимая жара, не дающая дышать,— все это представлялось мне адом.

Вещи, которые кое-кто успел вытащить из домов, горели на улице, и подойти к ним было невозможно. Огонь распространялся с такой быстротой и силой, что многие, прибежав с поля, застали свои дома уже догорающими. Как разъяренный зверь, разбушевавшийся огонь наступал до тех пор, пока на его пути не осталость построек.

А на следующее утро, когда ночная прохлада остудила раскаленную землю, с красными от слез и едкого дыма

глазами, бродили по пожарищам измученные и похудевшие за одну ночь погорельцы, собирая оставшийся после пожара железный лом: ухваты, петли и ручки от дверей и окон, изуродованные кастрюльки и миски, горелые гвозди и ножи. В хозяйстве все пригодится. Хозяйки разыскивали в стаде овец, не нашедших своего дома и ночевавших неизвестно где, собирали уцелевших и сразу одичавших кур.

В это утро, 3 августа 1922 года, по своему пожарищу бродили и мы. На месте нашего дома остался лишь битый кирпич, кучи золы и груды прогоревшего до дыр, исковерканного и ни на что не пригодного железа.

Мы также собирали и стаскивали в одну кучу вынесенные из дома на улицу обгоревшие вещи, среди которых были книги и рукописи Сергея (часть их находится сейчас в Институте мировой литературы).

Наш дом, сгоревший летом 1922 года, был небольшой, но красивый. Наличники, карниз причудливо вырезаны и выкрашены белой краской; железная крыша, водосточные трубы и обитые тесом углы дома выкрашены зеленой краской. Три передние окна выходили в сторону церкви. Из наших окон был виден синеющий вдали лес, излучина Оки и заливные луга.

В доме у нас было чисто и уютно. Двери, перегородки, оконные рамы и наличники выкрашены белой краской, на окнах белые с кружевными прошивками шторы.

В передней комнате, так называемом зале, стоял посудный шкаф с деревянными дверками внизу и стеклянными наверху, стол с откидными крышками и шесть венских стульев. На стенах висели семейные портреты, похвальный лист Сергея, зеркало, часы с боем фирмы Габю, на полу веером расстелены полосатые домотканые половики.

В переднем, «красном» углу — иконы и перед ними лампада. Ее зажигали в предпраздничные вечера. В правой стороне стояла голландка. Она и рядом с ней посудный

шкаф отделяли зал от спальни. В спальне стояла большая деревянная кровать. Войти в эту комнату можно было через зал и через кухню. Слева от входной двери была прихожая. Здесь иногда зимой помещали телят и поросят.

Этот дом очень любил наш отец. Он был построен на его деньги, заработанные тяжелым трудом. Более тридцати лет, с тринадцатилетнего возраста до самой революции, отец проработал мясником у купца. Тяжел труд мясника. Нужно обладать большой физической силой, чтобы поднимать мясные туши и целыми днями махать десятифунтовой тупицей, разрубая эти туши на маленькие куски.

Исключительно честный, он был вежлив и выдержан с хозяином и покупателями, пользовался большим уважением и был назначен старшим продавцом.

Дом был его единственной собственностью, куда он старался вложить каждую копейку. Он вез сюда из Москвы стулья, часы, рамки для портретов, чайную посуду. Он надеялся спокойно дожить свою жизнь в этом доме. Так оно и случилось. Во время революции лавка купца Крылова перешла в государственную собственность, и отец остался в ней работать продавцом. Но наступила гражданская война. Начался голод, мяса не было, и лавку закрыли. В городе отцу больше делать было нечего, и он вернулся в деревню.

С его приездом в доме у нас появилась железная кровать, выкрашенная серебряной краской, низенькая, с прутиками на спинках, без матраца и сетки, светлый, покрытый лаком сундук и икона с изображением двенадцати праздников. Это было все, что смог отец нажить за долгие годы тяжелого труда. Впрочем, на дне сундука лежал один десятирублевый золотой, который отец впоследствии продал, и на вырученные деньги купил лошадь.

Не легка жизнь для отца была и в деревне. Он не умел

ни косить, ни пахать, ни молотить. Даже лошадь запрячь не умел. Он мог лишь ухаживать за скотиной. Давал коровам и овцам корм, менял подстилку, зимой водил коров на речку поить. Животные так привыкали к нему, что больше и признавать никого не хотели.

Сознавая свою неприспособленность, отец чувствовал себя не на месте и ходил всегда грустный. Целыми часами сидел у окна, опершись на руку и смотрел вдаль.

Мать наша, прожившая почти всю жизнь в деревне, всегда занятая домашними делами, не могла понять, как можно сидеть вот так без дела и о чем-то думать. Заметив его, сидящего у окна, она часто потихоньку ворчала: «Опять утюпился в окно». Ее раздражала задумчивость и молчаливость отца, а он, часто отойдя от окна, вдруг запоет: «Помяни мя господи, егда приидеши во царствие твое...» Он не был особенно верующим и в церковь ходил очень редко. Шутя он как-то сказал: «Что такое: как ни приду в церковь, все христос воскресе поют».

Отец во всем любил порядок и был очень чистоплотен. Ему не нравилось, когда трогали его вещи, вплоть до мелочей, вроде чернил или карандаша. Для каждой вещи отводил свое место, и если кто-нибудь перекладывал что-либо, отец сердился. У него был отдельный сундук, который он всегда запирал. Это вошло в привычку, видно, потому, что он прожил много лет среди чужих людей. Отец все делал аккуратно, не торопясь, и нам всегда говорил: «Не доделав одного дела, не берись за другое».

Отец наш был худощавый, среднего роста. Светлые волосы и небольшая рыжеватая борода были аккуратно подстрижены и причесаны. Голубые глаза выражали его думы и настроение. Он не был многословным человеком. Редко ругал нас и никогда не бил. Если мы провинимся, то так, бывало, посмотрит, что лучше бы побил. Он не был ласков, редко уделял нам внимание, разговаривал с нами,

как со взрослыми, и не допускал никаких непослушаний. Когда у отца было хорошее настроение, он улыбался, и глаза его становились какими-то теплыми, лучистыми, вокруг них собирались лучеобразные морщинки. Его улыбка была заражающей. Посмотришь на него — и невольно становится весело и тебе.

Такие же глаза были у Сергея.

Отец очень хорошо и красочно умел рассказывать разные истории или смешные случаи из жизни, и при этом смеялся только глазами, в то время как слушающие покатывались от смеха.

Иногда он пел. У него был хороший слух, и мальчиком лет 12—13 он пел дискантом в церковном хоре на клиросе. Теперь у него был слабый, но очень приятный тенор. Больше всего я любила слушать, когда он пел песню «Паша, ангел непорочный, не ропщи на жребий свой...» Слова этой песни, мотив, отцовское исполнение — все мне нравилось. Эту песню пела у нас и мать, пели ее и мы с сестрой, но отец пел лучше всех. Слова этой песни Сергей использовал в «Поэме о 36». В песне поется:

Может статься и случиться,
Что достану я киркой,
Дочь носить будет сережки,
На ручке перстень золотой...

У Сергея эти слова вылились в следующие строки:

Может случиться
С тобой
То, что достанешь
Киркой,—
Дочь твоя там,
Вдалеке,
Будет на левой
Руке
Перстень носить
Золотой...

В 1922—1923 годах Сергей был за границей. Без его денежной помощи родители построить новый дом не могли. Болезнь и неприспособленность отца к крестьянской жизни, голод 1920—1921 годов и пожар привели наше хозяйство к сильному упадку. А Сергей из-за рубежа не мог помочь нам. В письме к Кате он писал: «Во-первых, Шура пусть этот год будет дома, а ты поезжай учиться. Я тебе буду высылать пайки, ибо денег присылать очень трудно...» И в конце: «Отцу и матери тысячи приветов и добрых пожеланий, им я буду высылать тоже посылки...»

Поэтому отец с матерью, получив страховку за сгоревший дом, купили маленькую шестиаршинную избушку и поставили ее в огороде, чтобы до постройки нового дома иметь хоть какой-нибудь, но свой угол. В этой избушке мы прожили до начала 1925 года, так как строиться стали только после приезда Сергея из-за границы.

Все здесь было бедно и убого. Почти половину избы занимала русская печь. Небольшой стол для обеда, три стула, оставшиеся от пожара, и кровать. Но стоило распахнуть маленькое оконце — и перед глазами вставала чудесная картина. Кругом яблоневые и вишневые сады. Сидя у окна, чувствуешь себя как в сказке. Отойдешь, и еще какое-то время тебя не покидает это сказочное ощущение.

Своего яблоневого сада у нас не было. В 1921 году отец купил и посадил несколько молодых яблонек, но во время пожара они все погибли, за исключением одной, которая стояла теперь перед окнами домика. Но по обе стороны нашего огорода у соседей были прекрасные многолетние сады с раскидистыми яблонями, свешивающими свои ветви на наш огород. У нас же по всему участку росли ползучие вишни, которые доставляли много хлопот нашим родителям — нужна была земля под картошку. Нам, детям, много огорчений приносила вырубка сада и распашка его сохой

или плугом. В стихотворении «Письмо к сестре» Сергей описывает эти переживания:

Ах, эти вишни.
Ты их не забыла,
И сколько было
У отца хлопот,
Чтоб наша тощая
И рыжая кобыла
Выдергивала плугом корнеплод.
Отцу картофель нужен.
Нам был нужен сад,
И сад губили.
Да, губили, душка.
Об этом знает мокрая подушка
Немножко... Семь...
Иль восемь лет назад...

Но цепкие растения с каждым годом ползли все дальше и дальше, упорно отвоевывая себе право на жизнь. Стоявший на огороде амбар кругом зарос вишневыми кустами, а за ним была уже целая вишневая роща, сквозь которую трудно было пробраться.

Непередаваемо хороши были эти сады в цвету. Бывало, выйдешь из дому в сумерки или ранним утром — все бело. Тишина. Залюбуешься красотой и забудешь о всех житейских невзгодах и заботах. Тебя охватывает какая-то грусть, и нет желания уйти от нее.

Но страшно в этих садах ненастными, темными осенними ночами. Ветер, качающий деревья, не только шумит, а как-то воет, и того и гляди, что в этой тьме кромешной повстречаешься с нечистой силой. Жили мы по-гоголевски — с чертями, с колдуньями, с приметами и поверьями.

«Не приведи бог,— говорила нам мать,— в полночь оказаться на перекрестке дорог, в это время колдуньи с распущенными косами в длинных белых рубахах собираются на перекрестках и пляшут, и, если попадешься им,— за-

щекочут насмерть. Подходя к перекрестку ночью, читай молитву «Да воскреснет бог и расточатся врази его», тогда ни одна колдунья тебя не тронет».

И как-то непонятно, зачем нашей матери нужно было запугивать нас нечистой силой. Вероятно, по традиции, так как сама она не боялась никаких чертей и колдунов и даже воров, которые в те времена очень часто забирались в дома и грабили. Живя одна с маленькими детьми, заслышав ночью подозрительные шорохи в сенях или на чердаке, вставала с постели, зажигала керосиновую лампу и выходила проверить, нет ли там кого-либо.

Как-то раз я спросила ее: «Как ты не боишься лезть на чердак, ведь тебя могут ударить по голове и убить». Она, улыбаясь, ответила: «Меня нельзя убить, я с лампой. Будет пожар».

Несколько лет в этом маленьком домике мы жили втроем: отец, мать и я. Катя жила и училась в Москве. Жизнь у нас шла тихо и однообразно, особенно зимой. Рано ложились спать, рано вставали и принимались за те же дела, что и в предыдущие дни: топили печи, ухаживали за скотиной, убирали дом, носили воду. «Грустно стучали дни, словно дождь по железу...» Редко кто из соседей заходил к нам, еще реже мои родители ходили к кому-нибудь из них. Мать не любила давать что-нибудь в долг, так как знала, что возьмут и сломают, и сама обращалась с просьбами только в крайних случаях. Я много раз слышала от нее пословицу: «Ложись без хлеба, вставай без долга». Этой пословицы она и старалась придерживаться.

Она не была строга, хотя никогда и не ласкала нас, как другие матери: не погладит по голове, не поцелует, так как считала это баловством. И когда у меня были уже свои дети, она часто говорила мне: «Не целуй ребенка, не балуй его. Если хочешь поцеловать, так поцелуй, когда он спит». Нищему она не подаст больше гривенника, но

если к человеку пришла беда, то она одна из первых придет к нему на помощь.

В годы гражданской войны в селе свирепствовали тиф и холера. В редком доме не было больных. Люди не ходили туда, где кто-нибудь болел. Умерших в церковь не вносили, а отпевали в часовне, при закрытых гробах.

Мать наша не думала в то время о себе, она навещала больных и помогала чем могла. Для больного у нее всегда находилось что-нибудь сладкое или кисленькое. Кому даст варенья, кому клюквы, кому сдобный сухарь. Она всегда берегла «про всякий случай» такие вещи, и сама не съест, а отдаст больным. Для них она ничего не жалела. И удивительно, как будто за ее доброту, нас минула беда: в нашей семье никто не заболел в те годы.

Очень жалела мать сирот, часто кормила, обмывала их.

Живя долгие годы только с маленькими детьми, она привыкла разговаривать вслух. Ее привычка всегда смешила отца, и как-то он сказал мне: «Пойди послушай, как мать с чертом разговаривает».

Наша мать была неграмотная и всю жизнь об этом жалела. Уже будучи пожилой женщиной, она пыталась ходить в ликбез, но старческие руки плохо слушались, и, несмотря на большое желание, научилась она только расписываться и едва читать по складам.

Когда мы учились, она следила за тем, чтобы мы делали уроки, а если мы читали художественную литературу, она ворчала: «Опять пустоту листаешь. Читала бы нужную книжку, а то ерундой занимаешься». И сама же она бессознательно прививала нам любовь к литературе. С раннего детства мы слышали от нее прекрасные сказки, рассказывать которые она была большая мастерица, а когда мы подросли, то выяснили, что часто пела она переложенные на музыку стихи Пушкина, Лермонтова, Никитина и дру-

гих поэтов. Она обладала хорошей памятью и, слушая, как разучивают стихи ее дети, она запоминала их и иногда читала вслух.

В конце мая 1924 года Сергей снова приехал в деревню.

Теплый воскресный день уже подходил к концу. Группой в несколько человек мы спускались с горы к перевозу. В воскресные дни в хорошую погоду мы ходили к коровам раньше, чем в будние. Хорошо наше подгорье, и приятно идти по нему не торопясь.

На полдороге к реке нас догоняет новая группа соседок, и одна из них, обращаясь ко мне, говорит:

— Шура, сейчас приехал ваш Сергей. На паре!..

От неожиданности я останавливаюсь и не знаю, что мне делать. В этот момент я пожалела о том, что у нас две коровы. Одну подоить легко было бы попросить кого-нибудь, а двух — это сложнее, можно опоздать в последнюю лодку и долго просидеть на том берегу.

К счастью, одна из Катиных подруг сама предложила мне подоить коров. Она поняла мое состояние, так как знала, что Сергей не был дома уже около трех лет, а его приезд для нас большой праздник. Я с радостью передала ей ведро и бегом поднялась в гору. По дороге я подумала: «Значит, приехала и Катя». Поднявшись в гору, я не увидела пары лошадей. Молниеносно пронеслась мысль: «А вдруг это ошибка. Вдруг не они приехали, а кто-то другой».

Но, вбежав в дом, я застаю радостную суматоху, и мать уже со щепками и спичками в руках хлопочет у самовара. Так всегда, едва поздоровавшись с приехавшими, она торопится ставить самовар.

Сергей и Катя приехали не одни. Вместе с ними был мужчина лет тридцати — тридцати пяти, полный, круглолицый, с маленькими смеющимися глазами — Сахаров.

С Александром Михайловичем Сахаровым у Сергея была дружба в течение нескольких лет. Встречались они и в Москве и в Ленинграде, где жил Сахаров. Александр Михайлович был издательским работником, и в 1922 году в петроградском издательстве «Эльзевир» он издал пьесу Сергея «Пугачев».

Позже, когда я жила в Москве, я видела Александра Михайловича у нас в доме довольно часто, и запомнился он мне как человек спокойный, с медлительными движениями, любящий пошутить. Но все это я узнала позже, а сейчас мне было не до него. Я так рада приезду Сергея и Кати, что вижу только их и бросаюсь им на шею то одному, то другому.

— А ну-ка, покажись, покажись! Ух, какая ты стала! — восклицает Сергей и, немного отступив, улыбаясь, начинает меня рассматривать и удивляться.

Это понятно: он уехал, когда мне было десять лет, теперь мне тринадцать. За эти годы я очень выросла. Я смущаюсь под пристальным взглядом Сергея, а тут еще Катя, которая тоже не была дома целый год, говорит ему:

— Вот видишь, какая!

По-видимому, у них был разговор обо мне.

На мое счастье, меня выручает мать, поручая принести из сеней угли для самовара, достать чистое полотенце, дать гостям умыться. Приказаний много, и я охотно их выполняю.

Катя тоже занята делами. Она распаковывает чемоданы, накрывает на стол. Задача ей выпала нелегкая — рассадить шесть человек за нашим маленьким столиком.

Пока закипает самовар, мужчины сидят, курят, делятся новостями. Новостей много, есть что рассказать и о чем расспросить друг друга. Отца интересует жизнь в Москве, за границей. Сергея — жизнь односельчан.

Со времени его последнего приезда сильно изменился

облик села, и особенно изменилась жизнь в нашей семье. Никогда еще не жили мы так бедно, как теперь, после голода и пожара, и отец с матерью как-то неловко чувствуют себя перед приехавшим гостем. Но Сергей, любивший свою родину «до радости и боли», счастлив, что снова дома, среди родных, и его не смущают ни бедность, ни теснота. Лишь позже с большой болью он пишет в стихотворении «Возвращение на родину»:

Как много изменилось там,
В их бедном, неприглядном быте.
Какое множество открытий
За мною следовало по пятам.
Отцовский дом
Не мог я распознать...

Да, в таком доме мы еще никогда не жили.

На наше счастье уцелел амбар, и Сергей там может спать. Но мать мучает вопрос: где уложить спать гостя?

За разговорами, за чаем не заметили, как прошел вечер. И задача матери решилась легко: мужчины решили спать в риге на сене.

Забрав все овчинные шубы и ватные поддевки, Сахаров, Сергей и отец ушли на ночлег. И, читая строки из поэмы «Анна Снегина»:

Беседа окончена...
Чинно
Мы выпили весь самовар.
По-старому с шубой овчинной
Иду я на свой сеновал.
Иду я разросшимся садом,
Лицо задевает сирень.
Так мил моим вспыхнувшим взглядам
Состарившийся плетень...—

я вспоминаю наши вишневые заросли, маленькую избушку и тот теплый тихий майский вечер, в который мы были так счастливы.

Сергей прожил дома всего лишь несколько дней. Вместе с Сахаровым он уехал в Москву, а оттуда — в Ленинград. Июнь и июль Сергей жил в Ленинграде и написал там поэму «Песнь о великом походе».

Летний зной, городская сутолока, напряженная работа — от всего этого Сергей устал и его снова потянуло в Константиново. 26 июля он пишет Гале Бениславской в Москву: «Дней через 6—7 я приезжаю в Москву. Еду в Рязань (имелось в виду Константиново) с Никитиным. Уж очень дьявольски захотелось поудить рыбу...»

И в начале августа Сергей снова в Константинове.

По неизвестным причинам Н. Н. Никитин (ленинградский писатель) с Сергеем не приехал, а нашим гостем на этот раз был молодой, лет двадцати, коренастый, широкоплечий, с черными глазами и густыми черными волосами поэт Иван Приблудный. Он был бесшабашный, озорной, находчивый весельчак, умеющий и посмеяться, и пошутить, и спеть. Но всего лучше он читал стихи. Особенно хорошо у него получались «Гайдамаки» Шевченко и «Петух» собственного сочинения. Читал он как-то удивительно просто, жестикулируя правой рукой или изредка поправляя черную шапку волос, но в его хрипловатом голосе было столько выразительности, что трудно забыть такое чтение. Был он, как говорится, без роду, без племени, выдавал себя за беспризорного украинца, но в его внешности и поведении было много цыганского. Его безобидное озорство иногда удивляло. Идем с ним по улице, спокойно разговариваем. Вдруг он становится на руки и идет на руках или, увидев впереди двух молоденьких девушек, идущих навстречу, поравнявшись с ними, резко бросается в сторону, а те от неожиданности шарахаются в другую. Пройдя несколько шагов, он оглянется, улыбнется им и продолжает путь как ни в чем не бывало.

Живя у нас в деревне, он исходил все окрестности,

пропадая целыми днями. Ночами он тоже где-то бродил. В это время стояли чудесные лунные ночи.

Однажды, возвращаясь под утро домой, он увидел начинающийся пожар. Заснувшее село как будто вымерло, а он, не зная, где вход на колокольню, стал собирать около церкви камни и бросать их в колокол. Правда, его удары мало походили на набат, но людей он все-таки разбудил.

Сергей спал в амбаре. Ему нужно было работать, а в риге нельзя курить, опасно зажигать лампу. Работал Сергей очень много. Я помню, как часами, почти не разгибаясь, сидел он за столом у раскрытого окна нашей маленькой хибарки. Условия для работы были очень плохие. По существу их не было совсем. Мы старались не мешать Сергею, но так как дом наш был слишком мал, а амбар служил кладовой, где хранили и платье и продукты, то поневоле нам приходилось его беспокоить.

И несмотря на трудности, он упорно работал над «Поэмой о 36».

Здесь же им было написано стихотворение «Отговорила роща золотая».

В работе над этим стихотворением у него была замечательная помощница — наша рязанская природа, с пролетающими в поля косяками журавлей, с костром рябины красной, стоящей перед нашим боковым окном.

Работа, работа, работа... Лишь изредка Сергей устраивает себе отдых, ходит ловить рыбу на Оку. Для этой цели он привез с собой много удочек, особенно поразивших меня колокольчиками, привязанными к тонкому кончику удилища. При малейшем прикосновении колокольчики издавали нежный, серебряный звон. Я не могла понять, что это такое, и, когда Сергей объяснил мне, что это удочки, я стала просить его взять и меня с собой на рыбалку.

— А ты что, тоже хочешь рыбу ловить? — удивленно спросил он и засмеялся: — Ну что ж, пойдем.

И вот мы втроем: Сергей, Катя и я, переехав реку, направляемся к Макарову углу.

Макаров угол — это место, где Ока давно когда-то оборвала один из своих поворотов и образовала угол. Образовалась старица, а часть бывшего русла заволокло песком и избавило наших крестьян от второй переправы, через которую раньше нужно было переезжать в луга.

Дорога уводит нас далеко вправо от избранного нами места лова. Но ничего не поделаешь, лежащее поперек луга озеро Тишь только в одном месте прерывается и дает возможность перебраться через него. Дорога здесь вся изрыта коровьими копытами, и идти по ней очень трудно. Ил, высохший на солнце, больно колет ноги. К счастью, озеро узкое и, перебравшись через него, ступаешь на гладкую дорогу, как на мягкий ковер.

Впереди коса с маленькими озерками, с высокими валами чистого речного песка, нанесенного сюда в половодье, в котором по щиколотку утопают ноги, с частыми, еле проходимыми зарослями ежевики, шиповника, смородины, хвороста. А пройдя косу, минут через десять мы уже у обрывистого берега реки.

В летнем безмолвии спокойно несет свои воды Ока. На ее гладкой поверхности отражаются израненные хлопотливыми ласточками отвесные берега, задумчиво склоненные над водой кустарники, бездонное голубое небо, позолоченное яркими солнечными лучами.

Маленькая пичужка, сидя на ветке куста, как будто поражаясь красотой природы и безмолвием, звонко и долго твердила: «Удивительно, удивительно», да на противоположной стороне реки, в прибрежных зарослях кустарника, как будто предвидя нашу неудачную рыбалку, кто-то еще из пернатых давал нам совет: «Купить, купить».

Сергей рассмеялся и задал пичуге вопрос: «А где? — И тут же храбро добавил: — Ничего, сами наловим...»

В Макаров угол, подальше от села, обычно ходили настоящие рыболовы. Вот и мы с Сергеем, как заправские рыбаки, переезжали на лодке Оку и приходили сюда же. Но от правил заправских рыбаков мы отступали: не вставали на заре и не ждали вечернего клева. Вечерами Сергей чаще всего работал, очень поздно ложился спать и поздно вставал. Уходили из дому мы часов в девять-десять, добирались до места и рыбачить начинали уже почти в полдень. Не могли похвастаться и хорошим уловом. Ерш, окунь, плотва — вот основная добыча. Но мы не унывали, с радостью вытаскивали очередного ершишку или окунька и довольны были тем, что по количеству их у нас было много. Я должна была опускать в садок рыбу и вести счет.

И вот однажды нам повезло. Наконец-то попалась большая хорошая рыба. Это был голавль примерно на четыреста-пятьсот граммов. Дрожащими руками Сергей стал снимать голавля с крючка, а я побежала за садком. Прибежав с садком, я не успела его еще раскрыть, а Сергей уже выпустил из рук голавля. Рыба, упавшая в воду, на несколько секунд замерла, не веря тому, что она на свободе, затем стремительно ушла в глубину реки. Такой неудачи ни Сергей, ни я не ожидали, и он вдруг вскипел: «Вот, дурная, что ж ты наделала. Лезь вот теперь за ней». А я даже не пыталась оправдаться, что вина-то не только моя, и растерянно стояла в воде, держа раскрытый садок.

Сергей был так огорчен, что разбудил Катю, которая не любила терпеливо сидеть с удочкой и обычно, пока мы ловили, спала в прибрежных кустах, рассказал ей о случившемся. А потом весело подшучивал надо мной.

Это был единственный случай, когда Сергей накричал на меня. Вот теперь, спустя уже много лет, я вспоминаю и удивляюсь умению Сергея и выдержке, которые он проявлял, воспитывая нас. Ведь сам-то он был еще так молод. Я не помню случая, чтобы он когда-нибудь меня обидел.

И если я делала что-нибудь не так, он обычно, как и в этот раз, восклицал: «Вот, дурная, что ж ты наделала!» — и терпеливо объяснял мне мои ошибки.

У Сергея я многое переняла. Он рано научил меня любить книги. Каждое лето он приезжал домой в деревню, но не отдыхать, а работать. Чемоданы, привезенные им, в основном были заполнены книгами. Сидя за столом, с керосиновой лампой, он читал целыми ночами, до рассвета. Уезжая из деревни, не брал с собой книг, и таким образом дома у нас собиралась своя библиотека, благодаря которой еще девочкой 10—12 лет я знала очень много стихов Некрасова, Никитина, Пушкина, Кольцова, знала Тютчева, Фета, Майкова, Сурикова и многих других. Из писателей я особенно любила Гоголя.

Почти все свое свободное время теперь Сергей проводил с Катей и со мной. Часто вечерами выбирались мы со своего огорода, шли на село, за церковь на гору. Хорошо на горе тихим лунным вечером. На западе частыми зарницами освещается темное ночное небо, внизу серебрится река, а за покрытыми туманом лугами чернеет вдали лес.

Особенно мы любили смотреть вечером на проходящие пассажирские пароходы. На темной свинцовой поверхности воды пароходные огни отражаются, как в зеркале.

Пароход, идущий вдали, то скрывается за кустами на берегах, то за поворотом Оки или за горами, то вновь появляется, и мерный стук его колес становится все слышнее и слышнее. Перед Кузьминским шлюзом, пройдя наш перевоз, пароход подает свисток, звук которого как-то торжественно и победоносно разносится по лугам, по широкой реке, по береговым ущельям и где-то вдали замирает.

Глядя на уходящий пароход, испытываешь такое же манящее чувство, как при виде улетающего вдаль косяка журавлей.

Когда пароход войдет в шлюз и огни его сольются с мигающими огнями шлюза, мы уходим на село.

После долгого трудового дня спокойно спит село. В редком доме виднеется тусклый свет керосиновой лампы. Лишь неугомонная молодежь, собравшись около гармониста где-то в другом конце села, поет «страдания», да ночной сторож лениво стучит колотушкой.

Ходим мы обычно от церкви до Питеряевки и обратно. Питеряевка — это маленький поселок, или, вернее, улица в конце села, расположенная за оврагом, на дне которого небольшая плотина. Дома на Питеряевке стоят вдоль плотины. После пожара 1922 года, дотла уничтожившего этот конец села, дома выстраиваются медленно, их еще немного. То тут, то там, на месте, где должен стоять дом, чернеет подпольная яма, кое-где уже стоят срубы, как у нас. Над некоторыми ямами дома больше не выстроятся, так как из-за перенаселенности многим погорельцам отвели усадебные участки за селом, на Новом поселке, и некоторые из них уже построились там. На Новом поселке отводятся усадьбы и молодоженам, отделившимся от своих родителей.

Над уснувшим селом величаво плывет луна, освещая его своим бледным светом. Блестящими монетами рассыпались по светлому небу звезды, их немного, и кажется, что они совсем близко. Дорога и тропинки, освещенные луной, на близком расстоянии видны отчетливо, но дальше серыми змейками уползают в ночной сумрак.

Недолго ходим мы по селу, молча или разговаривая. Привыкшим жить и работать с песней трудно не петь в такой вечер, и обычно Сергей или Катя начинают тихонько, «себе под нос», напевать какую-либо мелодию. А уж если запоет один, то как же умолчать другим. Каждый из нас знает, что поет другой, и начинает подпевать.

Поем мы, как говорят у нас в деревне, «складно». У нас небольшие голоса, да мы и не стараемся петь громко, так

как песни требуют от исполнителей чувства, а не силы. Мы поем лирические песни и романсы. Например, «Ночь» Кольцова, у которой грустный мотив и такое же грустное содержание. Разве можно спеть громко такие слова из романса «Нам пора расстаться», как: «О друг мой милый, он не дышит боле, он лежит убитым на кровавом поле...»

Поем мы и переложенные на музыку в то время стихи Сергея «Есть одна хорошая песня у соловушки», «Письмо к матери», поем «Вечер черные брови насопил», мотив к которому мы подобрали сами.

Иногда, напевшись вволю, мы с Катей начинаем озорничать. Зачинщицей всегда бывает она: начнет петь какое-нибудь грустное стихотворение Сергея на веселый мотив, вроде плясового. Я, конечно, не отстаю от нее и подпеваю. Сергей сначала смеется, а потом начинает сердиться.

Ближе к полночи расходимся спать, но Сергей еще долго читает. А утром снова каждый за своими делами.

Иногда, оторвавшись от работы, Сергей обсуждал с родителями дальнейшую их жизнь. Выяснял, что им нужно, что требуется от него. Необходимо было решить, что же делать со мной, так как я дважды кончала от нечего делать четвертый класс и год уже не училась. О том, что я должна учиться дальше, не было и речи.

Однажды, обсуждая вопрос обо мне с матерью, он решил отдать меня в балетную школу Дункан, вероятно потому, что там был интернат, и долго вертел меня из стороны в сторону, рассматривая мои ноги.

Мать не возражала. Ей было трудно разобраться, хорошо это или плохо. Сам Сергей пошел не по тому пути, который ему указывали, а по другому, не знакомому ей. Мать видела, что путь, избранный им, вывел его на широкую дорогу, и целиком доверила меня Сергею.

Осенью 1924 года меня взяли в Москву учиться.

4

Раннее осеннее московское утро. Мирно спят еще жители города. Негустой, сероватый туман, смешанный с сизым дымом, освещенный лучами багрового солнца, сиреневым покрывалом повис над городом. Тихо. Медленно, будто нехотя, слегка покружившись в воздухе, падают с деревьев желтые листья и спокойно ложатся на серые камни булыжной мостовой. Важно, не торопясь, как-то по-хозяйски бродят по мостовой жирные сизые голуби, и серым облачком с громким азартным чириканьем перепархивают с места на место стайки озорных воробьев.

В тишине гулко раздаются редкие, твердые шаги отца и частые, торопливые мои. У нашего отца удивительная походка, он идет как будто не торопясь, но догнать его трудно.

В это октябрьское утро 1924 года отец привез меня в Москву учиться.

Осенью 1924 года Сергей жил на Кавказе, а Катя временно жила у Гали Бениславской в Брюсовском переулке (теперь улица Неждановой, так как комната в Замоскворечье, которую она снимала у бывших сослуживцев нашего отца, была занята приехавшей к ним дочерью с ребенком. В эту комнату мы с Катей поселились осенью 1925 года.

От Казанского вокзала к Чистым прудам мы идем пешком. Здесь, в Архангельском переулке (ныне Телеграфный), в доме № 7 помещался детский дом, заведующей которого была П. Г. Беликова — крестница нашего отца и какая-то дальняя наша родственница. У нее-то я и должна была жить до тех пор, пока освободится комната, которую снимала Катя.

Напившись у крестницы чаю и немного отдохнув, отец провожает меня к Гале и Кате. Первый раз еду в трамвае.

Через несколько дней после приезда в Москву меня устроили в школу.

У крестницы отца я прожила недолго. Кате не понравились условия, в которых я жила, и меня тоже взяли в Брюсовский переулок.

Два больших восьмиэтажных корпуса «А» и «Б», носящие название «дома «Правды», стояли во дворе дома за номером 2/14 друг против друга. В основном в этих домах жили работники газет «Правда» и «Беднота».

Квартира, в которой жила Галя, находилась на седьмом этаже. Из широкого венецианского окна Галиной комнаты в солнечные дни вдалеке виднелся Нескучный сад, лесная полоса Воробьевых гор, синевой отливала лента реки Москвы и золотились купола Новодевичьего монастыря. От домов же, расположенных на ближайших узких улицах и переулках, мы видели одни сплошные крыши.

Соседи у Гали были молодые, всем интересующиеся, особенно литературой. Очень любили здесь стихи, и удачные новинки декламировались прямо на ходу. Стихи вплетались в жизнь. Например, кто-то куда-то торопится, запаздывает и вдруг начинает читать строчки из «Повести о рыжем Мотеле» Иосифа Уткина:

И куда они торопятся,
Эти странные часы?
Ой, как
Сердце в них колотится!
Ой, как косы их усы!..

Или, рассказывая о каких-либо неудачах, добавляли строчки из той же поэмы:

Так что же?
Прикажете плакать?
Нет, так нет!..

При встрече со мной часто декламировались строчки из «Крокодила» К. Чуковского. Эту сказку вся квартира

знала почти наизусть, а Галя очень любила Блока, и часто от нее можно было услышать «Что же ты потупилась в смущеньи» или строки из поэмы «Двенадцать», вроде: «Стоит буржуй как пес голодный и в воротник упрятал нос»...

Но главное место у нас занимали стихи Сергея. В это время он очень часто присылал нам с Кавказа новые стихи. Ему там очень хорошо работалось.

25 декабря 1924 года Галина Бениславская писала Сергею: «От Вас получили из Батуми 3 письма сразу. Стихотворение «Письмо к женщине» — я с ума сошла от него. И до сих пор брежу им — до чего хорошо...»

Галина Артуровна Бениславская, или просто Галя, как звали ее мы, была молодая, среднего роста, с густыми длинными черными косами и черными сросшимися бровями над большими зеленовато-серыми глазами.

Галя была еще совсем маленькой, когда разошлись ее родители, и девочку отдали на воспитание тетке по матери Н. П. Зубовой. Я не знаю, кто были ее родители, но знаю, что семья была интеллигентная и Галя училась в Петербургской гимназии.

По окончании гимназии Галя поступила в Харьковский университет, но закончить университет ей не удалось — Харьков был захвачен белогвардейцами, и Галя, бросив занятия в университете, перешла фронт и приехала в Москву. Некоторое время она работала в ВЧК, а затем поступила в редакцию газеты «Беднота».

В 1920 году на одном из литературных вечеров в консерватории Галя познакомилась с Сергеем, и у них завязалась дружба. В это время Сергей жил с Анатолием Мариенгофом в Богословском переулке.

В 1921 году Сергей женился на американской балерине Айседоре Дункан, приехавшей в Россию по приглашению А. В. Луначарского и организовавшей в Москве балетную

школу. В мае 1922 года Сергей и Дункан уехали за границу, где они пробыли до августа 1923 года.

Вернувшись из-за границы, Сергей разошелся с Дункан, но жить ему было негде. Стеснять Мариенгофа, который обзавелся своей семьей, он не хотел.

Тогда Галя предложила Сергею поселиться временно у нее. Вот так и оказались мы в Брюсовском переулке.

Жили мы мирно, и каждый из нас занимался своими делами. По утрам я готовила уроки, днем уходила в школу, а вечером читали, или Галя помогала мне решать задачи, так как вначале я отставала от класса по арифметике.

Бывали случаи, когда Галя приносила домой из редакции «Бедноты», где она работала, много писем, присланных читателями. «Беднота» была ежедневной крестьянской газетой, которая доступным языком доводила до широких крестьянских масс новые политические вопросы, касающиеся перестройки деревни, широко освещала все нужды и запросы крестьян, завоевала к себе уважение и доверие и получала от читателей много писем. Разместить письма на столе было трудно, и Галя обычно располагалась с ними на полу, а я с удовольствием помогала ей читать их. Прочитав письмо, я коротко рассказывала Гале содержание его, и она красным или синим карандашом в верхнем углу письма ставила номер отдела, в который оно направлялось.

Зимой 1924 года из Ленинграда к Гале приезжала в гости ее тетя, Нина Поликарповна, у которой Галя воспитывалась. Нина Поликарповна привезла в подарок Гале деревянную коробку, которую в детстве Галя очень любила и называла ее «Мечта». Коробка была очень красивая, на верхней крышке и по бокам были выжжены и раскрашены зимние деревенские пейзажи и мчащаяся лихая тройка, а внутри она была обтянута красным атласом. Кроме коробки, Нина Поликарповна подарила Гале старинную тюлевую штору и маленький пузатый самовар.

Коробку мы приспособили под косметические принадлежности, а когда в конце февраля 1925 года Сергей приехал с Кавказа, из самовара мы пили чай, так как у нас не было большого чайника. Этот самовар есть на фотографии, где Сергей снят с мамой и читает ей. Снимок был сделан у нас в Брюсовском переулке в марте 1925 года. Мама тогда приезжала навестить нас, и Сергей читал ей поэму «Анна Снегина». Мать, как всегда, слушала чтение Сергея с затаенным дыханием, не перебивая его, ни о чем не расспрашивая. Неграмотная, она отлично понимала и глубоко чувствовала стихи сына и многие из них запоминала при его чтении наизусть.

Вещи, привезенные Ниной Поликарповной, положили начало удобствам и уюту в нашей жизни. Вслед за ними были куплены платяной шкаф и обеденный стол. Приобреталась новая посуда.

Живя в одиночестве, Галя мало беспокоилась о домашнем уюте, и обстановка у нее была крайне бедна. Вместо обеденного стоял кухонный столик, письменный заменял ломберный. Шведская железная кровать с сеткой, две тумбочки, два старых венских стула и табуретка. Стояла еще покрытая плюшем василькового цвета тахта, с провалившимися пружинами, за что, вероятно, получившая прозвище «одер», на двери и окне — репсовые гардины. Вот все, что было в комнате Гали. Эти вещи говорили о небольшом достатке их владелицы. Но чистота в комнате Гали была идеальная.

Теперь хозяйство наше постепенно налаживалось, но вести его по-настоящему ни у кого не было ни времени, ни уменья. Пришлось взять прислугу Ольгу Ивановну.

Ольга Ивановна в прошлом много лет проработала у издателя И. Д. Сытина. Была она строгая, постарше своих хозяек и, видя их неопытность и нерасчетливость, по-матерински отчитывала.

Гале очень нравилась эта семейная жизнь. Только теперь она поняла, что такое семья для человека и поняла Сергея, у которого очень сильно было чувство кровного родства. Его всегда тянуло к нам, к своей семье, к домашнему очагу, к теплу родного дома, к уюту.

В декабре 1924 года Галя писала Сергею на Кавказ: «Вы писали насчет того, что если будете в Питере, то жить удобнее у Соколова, а не у Сашки.

Это тот Соколов, который в Стойле бывал? Он или другой?

Впрочем, все это неважно. Важно вот что: Вам нужно иметь свою квартиру. Это непременно. Только тогда Вам будет удобно, а Сашка, Соколов и т. д. это Вас не может устроить. Вы сами это знаете, и я сейчас особенно поняла. Не с чужими и у чужих, а со своими Вам надо устроиться: уют и свой уют «великая вещь...»

Сергея всегда тяготила семейная неустроенность, отсутствие своего угла, которого он в сущности так и не имел до конца своей жизни. Зато много было рано свалившихся на него забот о близких ему людях.

Отец, переехавший после революции жить в деревню, не мог прокормить себя и свою семью. К этому еще голод, затем пожар в 1922 году. Жилось нам трудно, и забота о нас легла на плечи Сергея.

Кроме того, с переездом в деревню отца Сергею пришлось взять на свое иждивение Катю, которая в это время училась в Москве, быть ее наставником. А ведь этому «наставнику» и самому-то было около 25 лет. Но он исключительно о ней заботился.

Почти в каждом письме к своим друзьям из-за границы он просит, чтобы ей помогли. Ровно через месяц после отъезда из России он просит И. И. Шнейдера[1] в письме

[1] Илья Ильич Шнейдер — журналист и театральный работник. В то время был импрессарио и переводчик Дункан.

из Висбадена найти Катю и помочь ей. 13 июля 1922 года он пишет Шнейдеру же из Брюсселя: «К Вам у меня очень и очень большая просьба: с одними и теми же словами, как и в старых письмах, когда поедете, дайте ради бога денег моей сестре. Если нет у Вас, у отца Вашего или еще у кого-нибудь, то попросите Сашку и Мариенгофа, узнайте, сколько дают ей из магазина.

Это моя самая большая просьба. Потому что ей нужно учиться, а когда мы с Вами зальемся в Америку, то оттуда совсем будет невозможно помочь ей...»

В этом письме речь идет о книжной лавке художников слова, открытой осенью 1919 года группой имажинистов на кооперативных началах на Б. Никитской улице (ныне ул. Герцена), рядом с консерваторией, в доме № 15. В Москве в те годы группами поэтов и писателей на кооперативных началах было открыто несколько таких книжных магазинов, причем для рекламы часто поэты и писатели торговали книгами сами.

В Камергерском переулке (ныне проезд Художественного театра) был также открыт книжный магазин, здесь компаньонами были поэты Шершеневич и Кусиков, а в Леонтьевском переулке был магазин Владислава Ходасевича и профессора Бердяева.

Осень и зима 1924 года. Сергей на Кавказе, очень много работает, и в то же время он думает и беспокоится о нас. 12 декабря он пишет Гале: «...Я очень соскучился по Москве, но как подумаю о холоде, прихожу в ужас. А здесь тепло, светло, но нерадостно, потому что я не знаю, что со всеми вами. Напишите, как, где живет Шура. Как Екатерина и что слышно с домом...»

Наши родители строили новый дом, а я приехала в Москву учиться, и Сергей беспокоился, что мне негде жить.

И так все время. Бесконечные заботы о нас с сестрой, о деньгах, которыми он должен был обеспечить всех

близких. Почти в каждом письме к Гале давались указания, где можно и нужно получить для нас деньги, или высылались новые стихи с тем, чтобы их напечатать где-либо и получить за них для нас гонорар.

В том же 1924 году Сергей взял из деревни в Москву и нашего двоюродного брата Илью. Ему было лет 20, родители у него умерли. Илья учился в рыбном техникуме, жил в общежитии, но больше всего находился у нас. В общежитие уходил только ночевать.

Словом, все мы являлись для Сергея обузой. Но он безропотно нес этот крест. И если срывался, то в таких случаях, как правило, роль громоотвода выполняла Катя. Она была для него особенно близким человеком, занималась его издательскими делами.

Характер у Сергея был неровный, вспыльчивый. Но вспылив, он тотчас же отходил — сердиться долго не мог.

Сергей был опрятным человеком. По утрам подолгу полоскался в ванной и очень часто мыл голову. Любил хорошо одеваться, и его нельзя было застать неряшливо одетым в любое время дня. Эту же черту он любил и в других людях, особенно в окружающих его. Ему доставляло удовольствие смотреть на Катю, когда она была хорошо одета. Он любил ее, а Катя была красивая, стройная, и внешностью ее Сергей был доволен. В нашем доме не употреблялись такие слова, как «милочка», «душенька», а слово «голубушка» чаще произносилось в минуты раздражения. Но вот подойдет Сергей и мимоходом, молча положит свою руку тебе на шею или на плечо, и от прикосновения этой руки становилось так тепло, как не было нам тепло ни от каких ласковых слов.

Он был человеком очень общительным, любил людей. Любил поделиться с близкими своими мыслями, новыми стихами, подчас и теми, над которыми еще работал. Я очень хорошо помню приезд Сергея с Кавказа в Москву

в конце февраля 1925 года. С его приездом от нашей тихой жизни не осталось и следа. Сергей прожил в Москве всего один месяц, но за этот месяц у нас перебывало столько людей, сколько к другому не придет и за год.

В основном это были поэты и писатели, с которыми Сергей дружил в последние годы: Петр Орешин, Всеволод Иванов, Борис Пильняк, Василий Наседкин, Иван Касаткин, Владимир Кириллов и многие другие писатели, издатели, художники, артисты.

Вокруг Сергея всегда царило оживление. Все жили с ним одними интересами. Если это поход в театр или кино, то идут все, кто в этот момент присутствует, если это вечеринка, то все веселятся, если это деловой разговор, то в нем принимают участие все, кто есть.

Вечерами у нас было шумно и весело. Читались стихи, шли рассуждения о литературе, пелись песни, чаще всего русские народные, которые Сергей очень любил.

В нашем доме запевалами были мы с Катей. Почти все песни были грустные, протяжные. Очень любил Сергей песню «Прощай, жизнь, радость моя...» и часто заставлял нас с сестрой петь ее. Но еще чаще мы пели песню:

Это дело было
Летнею порою.
В саду канарейка
Громко распевала.
Голосок унывный
В лесу раздается.
Это, верно, Саша
С милым расстается.
Выходила Саша
За новы ворота,
Простояла Саша
До самой полночи.
Говорила Саша
Потайные речи:
— Куда, милый, едешь,
Куда уезжаешь.

На кого ж ты, милый,
Сашу спокидаешь.
— На людей, на бога.
Вас на свете много.
Не стой предо мною,
Не обливай слезою,
А то люди скажут,
Что я жил с тобою.
— Пускай они скажут,
Я их не боюся.
Кого я любила,
С тем я расстаюся.

Как и в деревне, пели мы «Ночь» Кольцова и старинный забытый романс, который всем слушающим очень нравился и о котором я упоминала ранее:

Нам пора расстаться,
Мы различны оба.
Твой удел — смеяться,
Мой — страдать до гроба.

Вы не понимали
Ни моей печали,
Ни моей печали,
Ни моих страданий.

Прочь, прочь. Ни слова.
Не буди, что было.
В жизни я другого,
Не тебя любила.

О, друг мой милый,
Он не дышит боле.
Он лежит убитый
На кровавом поле.

Свой край спасая,
Не боясь разлуки,
Он стоял, рыдая,
Молча жал мне руки.

Вы не понимали
Ни моей печали,
Ни моей печали,
Ни моих страданий,

Знатоки и любители русской народной песни находились и среди наших гостей. Среди них выделялся своим глуховатым тенором Василий Наседкин. Как сейчас вижу его, подперевшего щеку рукою, полузакрывшего глаза. И как сейчас слышу негромкую, полную тревожной печали, протяжную песню оренбургских казаков «День тоскую, ночью я горюю»...

Сергей был очень подвижным человеком, был горазд на выдумки, умел и любил шутить. Дома он часто шутил над Катей и особенно надо мной. Ему доставляло большое удовольствие смутить меня чем-нибудь, например: у меня были непослушные волосы. Катя с Галей забирали мои вихры на затылок и плели из них косичку, которая вплеталась в общую косу, подбирающую все остальные волосы. При такой прическе уши у меня всегда были открыты. И вот как-то утром за завтраком Сергей, глядя на меня, вдруг по-озорному улыбнулся и проговорил: «Ну-ка, поверни немного голову, посмотри в окно». Видя его лукавую улыбку, я сразу поняла, что он что-то заметил у меня, над чем можно посмеяться, и неохотно повернула голову в сторону окна.

А Сергей вдруг раскатисто захохотал.

— Да у тебя же разные уши,— еле проговорил он, содрогаясь от смеха.

Я не особенно поверила ему. Галя с Катей, ежедневно заплетая мне косы, никогда не замечали, что уши мои разные, но цели своей Сергей все-таки достиг: за столом все хохотали, уши мои подверглись всеобщему обозрению, и я была очень смущена.

После завтрака, посмотрев в зеркало, я убедилась, что Сергей прав, уши у меня действительно немного разные по форме, но такую разницу мог заметить только Сергей.

Очень трудно нам было жить в одной комнате. Особенное неудобство доставляла я. Мне нужно было готовить

уроки, а заниматься негде, да и вечерами ежедневное мое присутствие при гостях было неуместно.

В одной квартире с нами жила молодая женщина-врач Надежда Дмитриевна Юдина. Она была одинокая, вечерами редко уходила из дому и часто звала меня к себе.

Вначале я готовила у нее уроки, а затем целые вечера она занималась со мной раскрашиванием картинок. Рисовать мы с ней обе не умели и обычно сводили контуры с какой-либо картинки из книги и затем раскрашивали красками. Но раскрашивали мы неплохо.

Из нашей комнаты в комнату соседей вела дверь. Она была завешена огромным шелковым шарфом. С этим шарфом когда-то танцевала Дункан. И вот однажды, придя из школы, я увидела, что к шарфу, висевшему на двери, приколоты все мои рисунки и длинный лист бумаги с надписью синим карандашом: «Выставка А. Есениной», а ниже на другом листе красным карандашом извещалось: «Все продано».

Оказалось, что, пока я была в школе, Сергей нашел все мои рисунки и устроил эту выставку. Я очень удивилась и сильно смутилась от сознания, что обманула его: ведь он, вероятно, счел эти картинки не переведенными, а рисованными мною; я хотела разъяснить это Сергею, но он ходил по комнате такой довольный своей выдумкой, что жаль было разочаровывать его. У меня надолго осталось чувство горечи от этого невольного обмана. Надпись к этой выставке сохранилась.

Но все шутки, смех и веселье бывали в дни и часы отдыха. Приходило время работы, а работал Сергей очень много. Во время работы мы, чтобы не мешать ему, уходили из комнаты. Часами он сидел за ломберным столиком или за обеденным столом. Устав сидеть, он медленно расхаживал по комнате из конца в конец, положив руки в карманы брюк или положив одну из них на шею. На столе

он не любил беспорядка и лишних вещей, и если это был обеденный, то на чистой скатерти лежали только лишь бумаги, его рукопись, карандаш и пепельница. Сам он сосредоточен, и, если войдешь к нему в комнату, он смотрит на тебя, а мысли его где-то далеко, он весь напряжен, губы сомкнуты, и на щеках ходят желваки.

Очень много Сергей читал. Он следил за всеми литературными новинками. На ломберном столе, на тумбочке всегда лежали последние номера журналов «Красная новь», «Красная нива», «Прожектор», альманах «Круг» и др.

Иногда к нему приходили начинающие поэты, и он подолгу с ними разговаривал.

Были у нас и трудные дни, когда Сергей встречался со своими «друзьями». Катя и Галя всячески старались оградить Сергея от таких «друзей» и в дом их не пускали, но они разыскивали Сергея в издательствах, в редакциях, и, как правило, такие встречи оканчивались выпивками.

Вина Сергей выпивал мало, он очень быстро хмелел, становился раздражительным, неспокойным. Один же Сергей никогда не пил. Лишь изредка, по какому-либо случаю в доме у нас появлялась бутылка кахетинского, напареули или цинандали, которую распивали все вместе.

Оберегая Сергея от встреч с «друзьями», Катя и Галя старались одного его не выпускать из дома. Когда же почему-либо они не могли пойти с ним, ходила я.

Однажды днем, возвращаясь с Сергеем домой из издательства «Красная новь», находящегося в Кривоколенном переулке, мы шли мимо Иверских ворот и увидели в руках молодого вихрастого парня маленького рыжего щенка. То ли от холода, то ли от страха щенок дрожал всем своим маленьким телом, озираясь, поворачивал голову, слушая непривычные для него выкрики рядом стоящих с ним китайцев, ломаным русским языком рекламирующих свои товары: «А вот, не бьется, не ломается, вечно кувыркает-

ся» — или оглашающих проезд визгом надуваемых резиновых шариков: «Уйди, уйди, уйди».

Перепуганный щенок с удовольствием убежал бы отсюда, но хозяин крепко держал его, поворачивая из стороны в сторону, предлагая каждому проходящему: «Не надо ли собачку? Купите породистую собачку».

— С каких же это пор, парень, дворняжки стали считаться породистыми? — спрашивает проходящий мимо рабочий.

— Это дворняжка? Да у какой же дворняжки ты встречал такие отвислые уши? Понимал бы ты, так не говорил бы, чего не следует.— И, протягивая Сергею щенка, проговорил: — Купи, товарищ, щеночка. Ей-богу, породистый. Смотри, какие у него уши. Разве у дворняжек такие бывают? Недорого продам, всего за пятерку. Деньги нужны, и стоять мне некогда.

Сергей остановился. В его глазах показалась какая-то грусть. Он погладил голову и спину дрожащего щенка. Почувствовав нежное прикосновение теплой руки, щенок заскулил и стал тыкаться носом в рукав Сергеева пальто.

Выражение лица у Сергея моментально переменилось. Вместо грусти в его глазах и на всем лице сияла улыбка.

— Давай возьмем щенка,— обратился он ко мне.

— А где же мы его будем держать-то? Ведь здесь нет ни двора, ни сарая.

— Вот дурная. Да ведь породистых собак держат в комнатах. Ну и у нас он будет жить в комнате.

— А вместе с этой собакой нас с тобой из комнаты не погонят? — робко предупреждала я о возможном недовольстве нашей покупкой со стороны Гали и Кати.

Снова пробежала по лицу его тень грусти, но тут же он снова улыбнулся и стал успокаивать меня:

— Ну, а если прогонят, так мы его кому-нибудь подарим. Это будет хороший подарок. Возьмем.

И, уплатив 5 рублей, Сергей бережно взял из рук парня дрожащего щенка, расстегнул свою шубу и, прижав его к своей груди, запахнул полы. Так он и нес его до самого дома.

Войдя в комнату, осторожно опуская щенка на пол и по-озорному улыбаясь, он говорил: «Идем мимо Иверских. Видим: хороший щенок, и недорого. Хорошую собаку купить теперь не так просто, а эта — настоящая, породистая. Смотрите, какие у нее уши!»

Он был немножко неспокоен, понимая, что, живя вчетвером в одной комнате, трудно держать собаку, и, чтобы оправдать нашу покупку, торопился доказать ее породистое происхождение. Но сказать, какой она породы, он так и не мог. К его удивлению, к щенку отнеслись все очень хорошо. Все понимали, что принес его Сергей не потому, что он породистый, а просто ему было жаль щенка.

Вот так и появился у нас этот рыжий щенок, которому Сергей даже имя свое дал, и звали мы его Сережка.

Сергей был очень доволен своей покупкой и показывал его всем, кто к нам заходил, расхваливая пса на все лады.

Но прошло несколько дней, и Сережка стал вести себя как-то странно. Он скулил и лапами теребил свои длинные, отвислые уши. Когда же стали выяснять причину беспокойства пса, то выяснилась сразу и его порода: он был чистокровной дворняжкой, а уши у него отвисли потому, что были пришиты. Долго мы смеялись над этим жестоким, но остроумным жульничеством, и Сергей хохотал до слез.

Рос Сережка бестолковым, но удивительно игривым. Мы все его очень полюбили, и Сергей иногда, оторвавшись от работы, тоже любил поиграть с ним. К лету он уже был большим псом, но научить его ничему не удалось. Люди для него и свои и чужие были одинаковы. Не было смысла держать в комнате такую собаку.

Тогда Галя отправила его к своим знакомым в Твер-

скую губернию. Но и там его не смогли продержать долго. Он был очень озорной и дурашливый, играя однажды, откусил у коровы хвост, за что был изгнан из Тверской губернии.

Что же с ним делать? Прогнать? Пристрелить? На это никто не мог решиться. Он принадлежал Сергею, а Сергея в это время уже не было в живых. И решено было переселить его в Константиново.

Приняв собаку, отец и мать назвали его Дружок. Много неприятностей он доставлял им своей необузданной резвостью. С его появлением трудно стало загонять овец во двор, врассыпную разбегались куры. На цепь его посадить было невозможно, он не привык к ней, отказывался есть и выл дни и ночи, не переставая. Так и бегал он свободно по селу, гоняясь за овцами, курами, свиньями, вызывая их поиграть с ним.

Но перепуганные животные мчались от него во весь дух к себе во двор, а рассерженная хозяйка бежала со скандалом к нам в дом. Отец с матерью терпеливо выслушивали справедливые жалобы, сочувствовали жалующейся, но сделать ничего не могли. Собака была Сергея, и они полюбили ее за игривый, беззлобный характер.

Так и жил Сережка-Дружок у них года два. Однажды, бегая по селу, он захотел поиграть с человеком, который нес заряженное ружье. Человек не понял намерений Дружка, пристрелил его.

5

В середине июня 1925 года Сергей сошелся с Софьей Андреевной Толстой-Сухотиной и переехал к ней на квартиру в Померанцев переулок.

С переездом Сергея к Софье Андреевне сразу же резко изменилась окружающая его обстановка. После квартиры

в Брюсовском переулке, где у всех были общие стремления в жизни и общие интересы, здесь, в мрачной музейной тишине, было неуютно и нерадостно. Все здесь напоминало о далекой старине: портреты толстовских предков — чопорных, важных, в старинных костюмах, громоздкая, потемневшая от времени мебель, поблекшая, поцарапанная посуда, горка со множеством художественно раскрашенных пасхальных яичек и — как живое подтверждение древности — семидесятипятилетняя горбатенькая работница Марфуша, бывшая крепостная Толстых, прослужившая у них всю свою безрадостную жизнь, но сохранившая старинный деревенский выговор: «нетути», «тутати».

Серый, мрачный шестиэтажный дом. Сквозь большие, со множеством переплетов окна, выходившие на северную сторону, скупо проникал свет. Вечерами лампа под низко опущенным над столом абажуром освещала только людей, сидящих за столом, а остальная часть комнаты была в полумраке.

Квартира была четырехкомнатная. В одной из комнат жила жена двоюродного брата Сони с маленькими детьми. Другую комнату занимала какая-то двоюродная тетя Сони, женщина лет пятидесяти, которая ходила всегда в старомодной длинной, расклешенной юбке и в белой блузке с высоким воротом. Она почти не выходила из своей комнаты, и, бывая в этой квартире в течение нескольких месяцев, я лишь раза два слышала, как Соня с этой тетей обменялись несколькими фразами на французском языке.

В этой квартире жили люди все кровно родные между собой, но все они жили разными интересами, были внутренне чужими друг другу и почти не общались.

Иногда к Соне приходила ее мать — Ольга Константиновна — красивая брюнетка с проседью, с черными, как маслины, глазами. Говорила она мало и тихим го-

лосом, как будто боясь спугнуть устоявшуюся здесь тишину.

Сергей очень любил «уют, уют свой, домашний», о котором писала ему Галя, где каждую вещь можно передвинуть и поставить как тебе нужно, не любил завешанных портретами стен. В этой же квартире, казалось, вещи приросли к своим местам и давили своей многочисленностью. Здесь, может быть, было много ценных вещей для музея, но не для домашней жизни — они загромождали квартиру и собирали пыль. Соня же такой обстановкой была довольна.

Перебравшись в квартиру к Толстой, оказавшись с ней один на один, Сергей сразу же понял, что они совершенно разные люди, с разными интересами и разными взглядами на жизнь. Он писал Вержбицкому:

«Милый друг мой, Коля.

Все, на что я надеялся, о чем мечтал, идет прахом. Видно, в Москве мне не остепениться. Семейная жизнь не клеится, хочу бежать. Куда? На Кавказ.

До реву хочется к тебе, в твою тихую обитель на Ходжорской, к друзьям...

С новой семьей вряд ли что получится, слишком все здесь заполнено «великим старцем», его так много везде — и на столах, и в столах, и на стенах, кажется даже на потолках, что для живых людей места не остается. И это душит меня...»

В первой половине июля Сергей уезжает в деревню, или, как мы говорили, «домой». Дома он прожил около недели.

Шел сенокос, стояла тихая, сухая погода, и Сергей почти ежедневно уходил из дома: то на сенокос к отцу и помогал ему косить, то на 2 дня уезжал с рыбацкой артелью километров за 15 от нашего села ловить рыбу. Эта поездка с рыбаками и послужила поводом к написанию

стихотворения «Каждый труд благослови удача...», которое было написано там же в деревне.

Вернувшись из деревни, под впечатлением поездки он написал стихи: «Я иду долиной. На затылке кепи...» «Спит ковыль, равнина дорогая...» и «Я помню, любимая, помню...».

Находясь в деревне, Сергей написал стихотворение, относящееся к событиям, связанным с его жизнью с С. А. Толстой:

Видно, так заведено навеки,—
К тридцати годам перебесясь,
Все сильней, прожженные калеки,
С жизнью мы удерживаем связь...

Милая, мне скоро стукнет тридцать,
И земля милей мне с каждым днем.
Оттого и сердцу стало сниться,
Что горю я розовым огнем.

Коль гореть, так уж гореть сгорая,
И недаром в липовую цветь
Вынул я кольцо у попугая —
Знак того, что вместе нам сгореть.

То кольцо надела мне цыганка,
Сняв с руки, я дал его тебе,
И теперь, когда грустит шарманка,
Не могу не думать, не робеть.

В голове болотный бродит омут,
И на сердце изморозь и мгла:
Может быть, кому-нибудь другому
Ты его со смехом отдала.

Может быть, целуясь до рассвета,
Он тебя расспрашивает сам,
Как смешного, глупого поэта
Привела ты к чувственным стихам.

Ну, и что ж. Пройдет и эта рана.
Только горько видеть жизни край.
В первый раз такого хулигана
Обманул проклятый попугай.

Кольцо, о котором говорится в стихотворении, действительно Сергею на счастье вынул попугай незадолго до его женитьбы на Софье Андреевне. Шутя, Сергей подарил это кольцо ей. Это было простое медное кольцо очень большого размера и носить такое кольцо было трудно. Но Софья Андреевна надела его между двумя своими кольцами. Красоты от этого кольца не было никакой, однако она проносила его много лет как реликвию.

В конце июля Сергей и Соня уехали на Кавказ и вернулись в начале сентября.

Не таким вернулся Сергей с Кавказа, как весной. Тогда он приехал бодрым, помолодевшим, отдохнувшим, несмотря на то, что он там очень много работал. Трудно перечесть все, что им было написано за несколько месяцев пребывания там. Но работа не утомила его, а, наоборот, прибавила ему энергии. Теперь же он вернулся усталым, нервным.

Дома же было как-то тихо и чуждо. Вечера мы теперь проводили одни, без посторонних людей, только свои: Сергей, Соня, Катя, я и Илья. Чаще других знакомых к нам заходил Наседкин и коротал с нами вечера. В то время он ухаживал за Катей, к нему хорошо относился Сергей, и Наседкин был у нас своим человеком. Даже 18 сентября, в день регистрации брака Сони и Сергея, у нас не было никого посторонних. Были все те же Илья и Василий Федорович.

В этот вечер за ужином немного выпили вина, а затем играли в какие-то незатейливые игры. Одной из этих игр была «буриме». Игра эта заключалась в следующем: давались рифмующиеся попарно четыре или восемь слов. Нужно было составить стихотворение, окапчанием каждой строки которого должно было быть одно из данных слов.

После первой попытки мы установили, что игра нам не удалась, и, посмеявшись, мы прекратили играть в нее, а Соня со свойственной ей манерой все собирать после окончания игры аккуратно все сложила и убрала. Часть этой игры сохранилась в ее архиве и теперь находится в Государственном литературном музее.

Осенью 1925 года Сергей очень много работал. Он уставал и нервничал. Отношения с Соней у него в это время не ладились. И он был рад, когда мы, сестры, приходили к нему. С Катей он мог посоветоваться, поделиться своими радостями и горестями, а ко мне он относился, как к ребенку, ласково и нежно.

В один из сентябрьских дней Сергей предложил Соне и мне покататься на извозчике. День был теплый, тихий.

Лишь только мы отъехали от дома, как мое внимание привлекли кошки. Уж очень много их попадалось на глаза. Столько кошек мне как-то не приходилось встречать раньше, и я сказала об этом Сергею. Сначала он только улыбнулся и продолжал спокойно сидеть, погруженный в какие-то размышления, но потом вдруг громко рассмеялся. Мое открытие ему показалось забавным, и он тотчас же превратил его в игру, предложив считать всех кошек, попадавшихся нам на пути.

Путь от Остоженки до Театральной площади довольно длинный, особенно когда едешь на извозчике. И мы при-

нялись считать. Это занятие нас всех развеселило, а Сергей увлекся им, пожалуй, больше, чем я. Завидев кошку, он вскакивал с сиденья и, указывая рукой на нее, восклицал: «Вон, вон еще одна!»

Мы так беззаботно и весело хохотали, что даже угрюмый извозчик добродушно улыбался.

Когда мы доехали до Театральной площади, Сергей предложил зайти пообедать. И вот я первый раз в ресторане. Швейцары, ковры, зеркала, сверкающие люстры — все это поразило и ошеломило меня. Я увидела себя в огромном зеркале и оторопела: показалась такой маленькой, неуклюжей, одета по-деревенски и покрыта красивым, но деревенским платком. Но со мной Соня и Сергей. Они ведут себя просто и свободно. И, уцепившись за них, я шагаю к столику у колонны. Сидя за столом и видя мое смущение, Сергей все время улыбался, и, чтобы окончательно смутить меня, он проговорил: «Смотри, какая ты красивая, как все на тебя смотрят...»

Я огляделась по сторонам и убедилась, что он прав. Все смотрели на наш столик. Тогда я не поняла, что смотрели-то на него, а не на меня, и так смутилась, что уж и не помню, как мы вышли из ресторана.

А на следующий день Сергей написал и посвятил мне стихи: «Ах, как много на свете кошек, нам с тобой их не счесть никогда...» и «Я красивых таких не видел...»

Однажды Сергей встретил меня с довольной улыбкой и сразу же потащил в коридор к вешалке.

— Пойди смотри, какое я пальто купил,— говорил он, натягивая пальто на себя.

Я осмотрела Сергея со всех сторон, и пальто мне не понравилось. Я привыкла видеть брата в пальто свободного покроя, а это было двубортное, с хлястиком на спине. Пальто такого фасона только входили в моду, но именно фасон-то мне и не правился.

— Ну и пальто! Ты же в нем похож на милиционера,— не задумываясь, высказала я свое удивление.

— Вот дурная! Ты же ничего не понимаешь,— с досадой ответил он.

Разочарованный, Сергей вернулся в комнату и о пальто не сказал больше ни слова.

С этим пальто у меня связано еще одно воспоминание. Это было уже в октябре. Все чаще и чаще шли дожди. В такую пору я однажды явилась к Сергею в сандалиях. У него были Сахаров и Наседкин. Я почувствовала себя неудобно и тихонько уселась на диване, стараясь убрать под него ноги. Но мое необычное поведение не ускользнуло от внимания Сергея, и он, приглядываясь ко мне, понял, почему я притихла.

— Подожди, подожди. Почему ты ходишь в сандалиях? Ведь уже холодно!

Пришлось сознаться, что ботинки, которые мне купили весной, стали малы.

— Так чего ж ты молчала? Надо купить другие.

И, словно обрадовавшись появившейся причине выбраться из дома, он предложил пойти всем вместе и купить мне ботинки.

Возражений не было, мы отправились в магазин «Скороход» в Столешниковом переулке. Из магазина я вышла уже в новых «румынках» на среднем каблуке. Довольная такой обновкой, я шла, не чуя под собой ног.

Настроение было у всех хорошее, никому не хотелось возвращаться сразу домой, и мы решили немножко погулять. Спускаясь вниз по Столешникову переулку, все подшучивали надо мной, расхваливали мои ботинки. Катя с Сахаровым разыгрывали влюбленных. Так с шутками и смехом мы дошли до фотографии Сахарова и Орлова, и тут кто-то предложил зайти сфотографироваться. В таком

настроении мы и засняты. Сахаров обнимает Катю, а мы с Сергеем играем в «сороку».

На одном из снимков Сергей в шляпе и в том пальто, о котором шла речь выше. Эти снимки оказались последними в жизни Сергея.

В 1925 году мне было 14 лет, но в семье меня считали еще ребенком. Такое отношение ко мне было особенно у Сергея. Я помню, как, написав поэму «Черный человек» и передавая рукопись Кате, он сказал ей: «Шуре читать эту вещь не нужно».

Оберегая меня, мне не говорили, скрывали от меня разные неприятности, и я многого не знала. Не знала я и того, что между Сергеем и Соней идет разлад. Когда я приходила, в доме было тихо и спокойно, только немножечко скучно. Видела, что Сергей чаще стал уходить из дома, возвращался нетрезвым.

26 ноября Сергей лег в клинику для нервнобольных, помещавшуюся на Б. Пироговской улице, в Божениновском переулке. Клиника эта скорее походила на санаторий: внизу в вестибюле стояли цветы, всюду чистота, на натертых паркетных полах лежали широкие ковровые дорожки. Отношение врачей к Сергею было очень хорошим. Ему отвели отдельную светлую комнату на втором этаже, перед окном которой стояли в зимнем уборе большие деревья. Кроме того, ему разрешили ходить в своей пижаме, получать из дома обеды. Иногда обеды ему носила Катя, но в основном это была моя обязанность.

С первых же дней пребывания в клинике Сергей начал работать. Без работы, без стихов он не мог жить.

В один из воскресных дней зашли навестить Сергея Мариенгоф и его жена Никритина — артистка Камерного театра. Я впервые видела их, так как долгое время Сергей

с Мариенгофом были в ссоре, и лишь незадолго до того, как лечь в клинику, они помирились. Сергей не ждал их прихода и был смущен и немного нервничал. Разговор у них как-то не вязался, и Сергей вдруг стал жаловаться на больничные порядки, говорил, что он хочет работать, а в такой обстановке работать очень трудно.

Условия в клинике действительно были для него тяжелы. Здесь не гасили свет в комнатах и двери палат всегда были открыты. Особенно тяжелы для него были дни посещений, так как его комната была рядом с входной дверью в отделение, и все навещающие больных проходили мимо его комнаты и заглядывали к нему.

Лечение в клинике было рассчитано на два месяца, но уже через две недели Сергей сам себе наметил, что не пробудет здесь более месяца. Здесь же он принял окончательное решение не возвращаться к Толстой и уехать из Москвы в Ленинград.

7 декабря он послал телеграмму своему другу ленинградскому поэту В. Эрлиху: «Немедленно найди две-три комнаты. 20 числах переезжаю жить Ленинград. Телеграфируй. Есенин».

По его планам в эти две-три комнаты вместе с ним должны были переехать и мы с Катей.

19 декабря Катя и Наседкин зарегистрировали свой брак в загсе и сразу же сообщили об этом Сергею. Сергей был очень доволен этим сообщением, он уважал Василия Федоровича и сам всегда советовал сестре выйти за него замуж.

И тогда же ими всеми вместе было принято решение, что и Наседкин поедет в Ленинград и будет жить вместе с нами. Там же, в Ленинграде, было решено отпраздновать и их свадьбу.

Под предлогом каких-то дел 21 декабря Сергей ушел из клиники. Случаи, когда по делам Сергея выпускали из

клиники, были и раньше, но выпускали его с врачом и он в тот же день возвращался в клинику обратно. Но на этот раз он не вернулся. Не пришел он и домой. Дома было тревожно, ждали его каждую минуту.

Два дня Сергей ходил по редакциям и издательствам по делам и проститься с друзьями. Вечерами же был в Доме Герцена.

23 декабря под вечер мы сидели втроем у Сони: она, Наседкин и я. Часов в 7 вечера пришел Сергей с Ильей. Он был злой. Ни с кем не здороваясь и не раздеваясь, он сразу же прошел в другую комнату, где были его вещи, и стал торопливо все складывать как попало в чемодан. Уложенные вещи Илья с помощью извозчиков вынес из квартиры. Сказав всем сквозь зубы «до свидания», вышел из квартиры и Сергей, захлопнув за собой дверь.

Мы с Соней сразу же выбежали на балкон. Был теплый, тихий вечер. Большими хлопьями, лениво кружаясь, падал пушистый снег. Сквозь него было видно, как у парадного подъезда Илья и два извозчика устанавливали на санки чемоданы. Снизу отчетливо доносились голоса отъезжающих... После того как были размещены на санках чемоданы, Сергей сел на вторые санки. У меня вдруг к горлу подступили спазмы. Не знаю, как теперь мне объяснить тогдашнее мое состояние, но я почему-то вдруг крикнула:

— Сергей, прощай!

Подняв голову, он вдруг улыбнулся мне своей светлой, милой улыбкой, помахал мне рукой, и санки скрылись за углом дома.

Мне стало как-то невыносимо тяжело в опустевшей квартире.

Через день у меня наступили каникулы, и мы с Катей уехали домой в деревню.

Много дней подряд, не переставая, шел снег. В безветрии он ровным глубоким слоем лег на поля, на сельские

улицы, на крыши домов. Сплошные серые облака были так низко, что казалось, сползают на землю. Но 28 декабря как-то вдруг налетел порывистый ветер, закрутил и поднял вверх вихревыми столбами еще не слежавшийся снег с земли, а с крыш сбрасывал на землю. В воздухе все перемешалось, и поднялась снежная буря.

Тоскливую, жалобную песню тянули телеграфные провода, неспокойно скрипели качающиеся деревья, временами монотонно, тревожно бил на колокольне большой колокол, помогая путникам выбраться к жилью.

Вечером этого дня отец, мать, Катя и я были дома. На улице все еще бушевала метель, с визгом бросая нам в стекла окон снежную пыль, но в доме у нас было тихо и тепло, керосиновая лампа мягко освещала белую лежанку, иконы в переднем углу, золотящиеся бревна стен нашего нового дома. Было уютно и спокойно.

Забравшись с вечера на печку, мы с Катей так там и улеглись спать. А 29-го утром мама долго будила нас. Мы никак не могли проснуться, словно предчувствуя навалившееся на нас тяжелое горе. На улице все еще бушевала метель.

Часов в одиннадцать нарочный с почты принес нам первую настораживающую телеграмму: «Сергей болен еду Ленинград. Наседкин».

Сергей болен. Что могло случиться за 5 дней, в течение которых мы не видели его? Стало тревожно, но успокаивало то, что теперь рядом с ним Василий Федорович, свой человек.

Часа через три к нам снова пришел нарочный с почты и на этот раз принес нам еще две телеграммы — одну из Москвы от друга Сергея Анны Абрамовны Берзинь, которая писала: «Случилось несчастье приезжайте ко мне»,— и вторую от Василия Федоровича из Ленинграда с сообщением о смерти Сергея.

Дом наш наполнился плачем и суматохой. Нужно было немедленно выезжать, хотя поезд уходил с нашей станции поздно вечером, но наступали уже сумерки, а за последние дни на дороги намело горы снега, через которые нужно было пробираться до станции. Лошадь, везущая нас, по брюхо увязала в сугробах.

На следующее утро мы приехали к Анне Абрамовне втроем: мама, Катя и я. Папе пришлось остаться дома, так как нужно было найти человека, который на время похорон остался бы у нас в доме.

Приехав в Москву и узнав подробности, мы дали ему телеграмму: «Похороны завтра тридцать первого».

Смерть Сергея поразила своей неожиданностью многих. И сразу же стало понятно, как велика любовь народа к его творчеству. К прибытию поезда из Ленинграда с телом Сергея несколько тысяч человек пришли на Каланчевскую площадь, чтобы участвовать в траурной процессии.

Гроб с телом Сергея был установлен в главном зале Дома печати (ныне Дом журналиста) на Никитском бульваре. На решетке ограды Дома печати было протянуто большое полотно, на котором черными большими буквами написано: «Тело великого русского национального поэта Сергея Есенина покоится здесь».

Всю ночь, до самого рассвета, нескончаемым потоком шли люди проститься с Сергеем. Звучит похоронная музыка, щелкают аппараты фотокорреспондентов, художники делают зарисовки. Сменяется почетный караул.

По постановлению Совета Народных Комиссаров расходы по похоронам Сергея были приняты на государственный счет. В похоронах принимали участие все литературные организации, и ими был установлен маршрут, по которому следовала траурная процессия.

Туманным утром 31 декабря под звуки траурного марша на руках близких друзей гроб с телом Сергея был

вынесен из Дома печати, установлен на катафалк, и многотысячная процессия направилась на Страстную площадь (ныне площадь Пушкина), к памятнику Пушкина.

Участник похорон Ю. Н. Либединский, заканчивая свои воспоминания о Есенине, писал в 1957 году: «Перед тем как отнести Есенина на Ваганьковское кладбище, мы обнесли гроб с телом его вокруг памятника Пушкину. Мы знали, что делали,— это был достойный преемник пушкинской славы».

От памятника Пушкину, правой стороной Тверского бульвара, процессия направилась к Дому Герцена, где в то время были сосредоточены все литературные объединения Москвы. Здесь была вторая остановка. Председатель Союза писателей Вл. Кириллов произнес прощальную речь.

Третья остановка была у Камерного театра. Струнный оркестр театра исполнил траурный марш, а артист Церетелли возложил на колесницу венок.

От Камерного театра процессия направилась к Ваганьковскому кладбищу.

После угомонившихся многодневных вьюг и метелей в этот день было тихо и по-весеннему тепло. Под ногами хлюпал талый снег. К полдню рассеялся туман и выглянуло яркое солнце, но от его тепла не растаяло наше горе.

Александра Александровна Есенина
РОДНОЕ И БЛИЗКОЕ

Редактор *В. П. Фирсов*
Художник *И. М. Гирель*
Художественный редактор *Э. А. Розен*
Технические редакторы
Л. В. Шендарева и *Л. М. Самсонова*
Корректор *В. Е. Иовлева*

Сд. в наб. 19/IV-67 г. Подп. к печ. 26/II-68 г. Форм. бум. 70×108$^{1}/_{32}$ Физ. печ. л. 2,75+8 вкл. Усл. печ. л. 4,55. Уч.-изд. л. 4,17. Изд. инд. ЛХ-258. А05136. Тираж 100 000 экз. Цена 17 коп. Бум. № 1.

Издательство «Советская Россия».
Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР, г. Электросталь Московской области, Школьная, 25. Заказ № 376.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об этой книге и пожелания присылать по адресу: Москва, Центр, проезд Сапунова, д. 13/15, издательство «Советская Россия».

17 коп.

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ · 1968